СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

МИХАИЛА СИВАЧЕВА.

Т. II.

80/89

„ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ".

(ЗАПИСКИ ЛИТЕРАТУРНАГО МАКАРА).

КНИГА ВТОРАЯ.

К-ВО «СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ».

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА.

АВГУСТЪ СТРИНДБЕРГЪ.

Полное собраніе сочиненій. 15 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	Исповѣдь глупца. Ром. 3-е изд..	1.—
2	Адъ. Романъ. Съ предислов. В. М. Фриче. 2-е изданіе ...	1.—
3	На шхерахъ. Ром. 2-е изд.	1.—
4	Утопіи въ дѣйствительности. Новеллы. 2-е изданіе.........	1.—
5	Красная комната. Очерки изъ жизни художн. и писателей.	1.25
6	Чандала. Романъ.............	1.—
7	Готическія комнаты. Романъ. 2-е изданіе	1.—
8	Сынъ служанки. Ром. 2-е изд...	1.50
9	Историческія драмы..........	1.25
10	Трагикомедія брака. 2-е изд....	1.25
11	Романтичный пономарь .... Разрывъ. Повѣсти...........	1.—
12	1) Легенды 2) Графиня Юлія...	1.—
13	Развитія одной души. Романъ Мастеръ Улофъ. Драма.	1.25
14	Пляска Смерти. Одиночество. Самумъ. Отецъ (печ.).	
15	Черныя знамена. Ром. (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Переводъ произведеній Стриндберга, несомнѣнно, обогатитъ русскихъ читателей знакомствомъ съ яркимъ и своеобразнымъ талантомъ. Стриндбергъ всегда силенъ и оригиналенъ. Неподдѣльный блескъ его дарованія, чуждаго модныхъ уловокъ и разсчитанныхъ эффектовъ, привлекаетъ даже тогда, когда читатель, подавленный тяжелыми картинами патологической психологіи, чувствуетъ непреодолимую потребность вырваться изъ цѣпкихъ сѣтей мизантропическаго міросозерцанія автора". „Совр. Міръ".

ГУСТАВЪ афъ-ГЕЙЕРСТАМЪ.

Полное собраніе сочиненій. 13 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	Комедія брака. Романъ. 3-е изд. Съ вступительной статьей Ю. А. Веселовскаго	1.—
2	Роковыя силы. Романъ........	1.25
3	Голова медузы. Романъ.......	1.—
4	1) Вѣчная загадка. 2) Маленькій Свенъ. Два романа......	1.25
5	Власть женщины. Романъ......	1.—
6	Трагедія одной жизни. Романъ.	1.—
7	Мать и сынъ. Романъ	1.—
	8, 9, и 10 (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Это одинъ изъ самыхъ яркихъ, проницательныхъ и чуткихъ беллетристовъ-психологовъ современной шведской литера-

ЖОРЖЪ ЭКОУТЪ.

Полное собраніе сочиненій. 5 томовъ.
Перев. съ француз., разрѣшен. авторомъ.

Тома		Цѣна.
1	Изъ міра „Бывшихъ людей". Романъ	1.—
2	Жажда любви. Романъ........	1.—
3	Защитникъ бездомныхъ. (печ.).	

Изъ отзывовъ печати.

„Жоржа Экоута я охотно назвалъ бы бельгійскимъ Горькимъ, настолько онъ рѣзокъ и мучительно правдивъ въ своихъ разсказахъ". Иванъ Жилькенъ.

БЬЕРНСТЬЕРНЕ-БЬЕРНСОНЪ.

Собраніе сочиненій. 10 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	1) Сюннёве Сольбаккенъ. (Пов.). 2) Когда цвѣтетъ молодой виноградъ. (Комедія)	1.—
2	1) Одинъ день. 2) Волосы Авессалома. 3) Перчатка.	1.—
3	Рыбачка. Романъ	1.—
4	Новобрачн. Леонарда Арне (печ.).	—

Изъ отзывовъ печати.

„Для русскаго образованнаго общества Бьерсонъ особенно интересенъ своими положительными типами, т.-е., какъ разъ тѣмъ, чего у насъ нѣтъ. Тѣмъ, чего наши даже самые выдающіеся писатели никакъ не могутъ создать, несмотря на всѣ свои старанія. Д. Городецкій. (Р. Сл.).

ТОМАСЪ ГАРДИ.

Полное собраніе сочиненій.

Тома		Цѣна.
1	Настоящая женщина. Романъ часть I-я..................	1.25
2	Настоящая женщина. Романъ часть II-я	1.25

ТОМАСЪ МАННЪ.

Полное собраніе сочиненій. 5 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	Фіоренца. Фридеманъ Жажда счастья	1.—
2	Новеллы.	1.—
3	Семейство Будденброоковъ. Ром.	1.25
4	Паденіе одной семьи. Романъ. .	1.25

Изъ отзывовъ печати.

„Томасъ Маннъ, идя вслѣдъ за Фр. Ницше, является единственнымъ

Современныя проблемы

И 80
8-9

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ“.
МОСКВА—1911.

801-89
11269-X

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

„ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ“.

(Записки литературнаго Макара).

КНИГА ВТОРАЯ.

XI 6586

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ“.
МОСКВА—1911.

Того же автора:

Т. I. ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ. Книга первая Ц. 1 руб.

Типографія А. Л. БУДО, Москва, Мясницкая, 20. Тел. 188-49.

Дорогой памяти покойной жены посвящаю эту скорбную книгу.

Михаилъ Сивачевъ.

1906 годъ.

О, эта мучительная, неотступная тоска: видѣть себя и другихъ все болѣе лучшими, все болѣе совершенными *въ невидимомъ зеркалѣ!*

Я оглядываюсь на тотъ путь, который я прошелъ во имя этой тоски—и никнетъ голова, стынетъ сердце.

Рвись со свѣтлымъ лицомъ изъ потемокъ жизни къ огонькамъ жизни—тебя отбросятъ назадъ, туда, гдѣ мракъ одиночества, холодъ отчужденія.

Если тебѣ дано самоотверженно любить—тебя научатъ изступленно ненавидѣть.

Такъ я чувствую жизнь. И съ этой мѣркой иду... Куда? Посмотримъ!

Вновь я встрѣчаюсь съ батюшкой уже въ роли редактора газеты «Правда Господня».

Когда я натолкнулся впервые на эту газету и узналъ, кто ея руководитель, я горько усмѣхнулся:

— Куда ужъ намъ до «Правды Господней», когда мы забыли человѣческую.

И вотъ, переживая дикую боль расплаты за потрясенную до основъ вѣру въ человѣка, за любовь къ нему—въ это время нужда погнала меня къ батюшкѣ, — къ тому, кто первый подарилъ мнѣ ядовитую мысль, что и на солнцѣ есть пятна!

Принесъ я ему небольшой разсказъ.

Принялъ онъ меня холодно: должно быть такія письма, какъ мои, не забываются! Здѣсь же просмотрѣлъ разсказъ—и поразился:

— Я не понимаю, что съ вами. Раньше въ вашихъ вещахъ были искорки — теперь нѣтъ. Эту вещь я не могу взять для «Правды Господней». Тутъ Богъ знаетъ что... Рабочій хоронитъ свою жену и на поминкахъ устраиваетъ оргію...

Помолчалъ.

— Правда: написано ярко. Техническіе успѣхи вы сдѣлали значительные. Теперь, вотъ я понимаю: въ вашихъ раннихъ вещахъ не хватало этой технической стороны. Стиль у васъ теперь ровенъ, обработанъ; я радъ, что съ внѣшней стороны вы такъ шагнули впередъ... Но какой для читателя примѣръ? Не могу взять.

Это «радъ» — подняло во мнѣ волну холодной злобы и отвращенія. Онъ *радъ*, когда то, чему онъ радуется, за него сдѣлали другіе: Горькій немного мнѣ сдѣлалъ указаній въ томъ, какъ нужно писать,—но всѣ его указанія были ясны, значительны, и наглядны: читая мои разсказы, онъ дѣлалъ замѣчанія о дефектахъ на поляхъ рукописи.

Просто и дѣльно. А батюшка находилъ, что это трудно, что для этого почему то нужно читать мои вещи вмѣстѣ; обѣщалъ для этого «свободный денекъ»—и забылъ.

Я взялъ свой злополучный разсказъ и сказалъ, что принесу другой.

Пришелъ домой, съ восьми часовъ вечера засѣлъ за новый разсказъ и къ тремъ ночи его кончилъ. А на другой день около 12 дня собираюсь нести его къ батюшкѣ.

Жена успѣла разсказъ прочесть и посовѣтовала:

— А не пройдешься ли по нему еще разокъ? Такъ, хоть, слегка?

Я засмѣялся.

— Думаю, что съ удовольствіемъ скушаетъ и въ такомъ видѣ. Для кого, а для этого господина знаю, что писать.

И понесъ. И не ошибся. Батюшка прежде заглянулъ въ разсказъ мелькомъ, но потомъ должно быть, уловилъ что нибудь особенно цѣнное въ его духѣ—началъ читать сначала, а когда кончилъ—весь расцвѣлъ:

— Вотъ это разсказъ! Это я понимаю. Здѣсь я узнаю васъ; но здѣсь вы много сильнѣе, чѣмъ писали на первыхъ порахъ.

Я холодно улыбнулся: уже не былъ тѣмъ наивнымъ ребенкомъ, какимъ былъ *на первыхъ порахъ*!

Слава Богу: сдѣлали настолько взрослымъ, что и похвалы не радуютъ.

Потомъ батюшка спросилъ... нравится ли мнѣ его газета?

Газета мнѣ не нравилась; самымъ талантливымъ лицомъ въ ней былъ батюшка, и я въ нѣсколькихъ словахъ высказалъ свое мнѣніе не о газетѣ вообще, а объ его послѣдней статьѣ, гдѣ не понимающимъ простыми словами объяснялось, что такое «платформа», «блокъ», «лозунгъ» и т. д.

Я высказалъ, что для народа такія статьи очень цѣнны.

— Вы думаете?

— Убѣжденъ въ этомъ.

Батюшка вдохновился и... горячо заговорилъ о своихъ планахъ и цѣляхъ. Онъ думаетъ поднять самосознаніе массъ, пробудить въ нихъ сознательную личность, привить уваженіе собственнаго достоинства, дать массамъ правильный взглядъ на ихъ неотъемлемыя права, научить ихъ говорить языкомъ человѣка, а не раба и т. д. въ этомъ родѣ.

Я слушалъ и... холодно подавалъ реплики. Изрѣдка. Это своему недавнему учителю-то!

Я слушалъ и... горько думалъ: «Слова. Все только слова и слова. Куда ужъ намъ до такихъ

плановъ, когда на дѣлѣ—«даны намъ благіе порывы, но совершить ничего не дано!». Встрѣтится намъ уже *не личность*, а пока еще только половина личности—мы не поднимемъ ее *до личности*, а постараемся раздавить и половину ея; куда ужъ намъ до личностей—когда сами далеки отъ таковой...

А онъ говорилъ, говорилъ и поднималъ во мнѣ скверную муть пережитаго.

Я уже молчалъ. Не подавалъ репликъ. Я изо всѣхъ силъ крѣпился, чтобы не сказать:

— Батюшка, на этотъ счетъ помолчать бы? Было время,—я вамъ писалъ письмо, которымъ мягко хотѣлъ напомнить вамъ: «Большой человѣкъ,—маленькій человѣкъ видитъ, что вы падаете и хочетъ, чтобы вы поднялись...» Вы отвѣтили нѣсколько лживыхъ, лицемѣрныхъ строкъ—и больше ничего. Вы не задумались надъ этимъ письмомъ. Должно быть, потому, что «у большихъ людей» черезъ чуръ развивается чувство собственной непогрѣшимости. Помолчать бы объ этомъ батюшка. Во первыхъ потому—къ святому дѣлу надо подходить съ молчаніемъ; во вторыхъ—съ чистыми руками.

Наконецъ, елей батюшки излился; онъ помолчалъ и, вспомнилъ о моей пьесѣ:

— Ахъ, да. Вы мнѣ писали про пьесу. Ну, какъ съ постановкой?

И тонъ уже такой: а вѣдь, не знаю, какова пьеса—а вдругъ и поставитъ!

Я отвѣчаю, что ничего не вышло.

Тонъ перемѣнился: уже сознаніе своей правоты.

— Видите. Я вамъ писалъ, что на постановку трудно разсчитывать. Пьеса—вещь большая.

Я заявилъ:

— Мысль о постановкѣ я не самъ выдумалъ, Даже и пьесы не думалъ писать. На это натолкнулъ меня Горькій.

Батюшка удивился:

— Вы и съ Горькимъ уже знакомы?

Онъ не спросилъ, какъ и почему я познакомился съ Горькимъ; какимъ образомъ и гдѣ я пережилъ то время, когда онъ уѣхалъ въ Іерусалимъ?

Послѣдній вопросъ неизбѣжно *пришелъ бы* въ голову тому человѣку, который знаетъ по себѣ, что значитъ борьба за кусокъ хлѣба на каждый день.

Онъ удивился, а мнѣ хотѣлось сказать:

— Нужда и желаніе жить, батюшка, толкаютъ не только на знакомства съ Горькими, но иногда и на встрѣчу смерти. Роль «человѣка—мячика» не легка.

Но мало-ли чего въ жизни нужно говорить, да нельзя говорить. И я ограничился только тѣмъ—зло усмѣхнулся и бросилъ:

— Да, имѣлъ счастье... познакомиться съ Горькимъ.

— Ну, вотъ. Теперь я понимаю: почему вашъ

первый разсказъ мнѣ не понравился; въ немъ, оказывается, было вліяніе Горькаго.

Никакого вліянія Горькаго въ разсказѣ не было, но разубѣждать батюшку я не нашелъ возможнымъ: съ людьми, отъ которыхъ зависишь, нельзя не соглашаться!

Истина не совсѣмъ похвальная, но въ томъ, что я выучился понимать такую истину—повиненъ отчасти, вѣдь, и батюшка.

А батюшка продолжалъ:

— Если бы вы не принесли сегодня этого разсказа «Чудо»—я оставался бы при убѣжденіи, когда вотъ теперь узналъ, что вы и съ Горькимъ уже знакомы, что онъ васъ своимъ вліяніемъ испортилъ въ конецъ. Но, оказывается, нѣтъ; у васъ все таки осталось свое. Пусть оно растетъ, развивается. Съ Горькаго примѣра не берите: онъ на босякахъ свернулъ себѣ голову.

Съ острой болью я вылавливаю изъ его рѣчи только одно слово: *свое*...

Гдѣ оно это *мое*? Разбили въ дребезги, растоптали и, когда я съ величайшими усиліями стараюсь собрать хоть часть разбитаго и грубо затоптаннаго, мнѣ напоминаютъ, что пусть оно это «мое» растетъ, развивается!

Да, батюшка, оно растетъ, развивается, но во что выростетъ и разовьется? О, вы слѣпые фарисеи, сѣющіе плевелы на хорошей нивѣ и, когда плевелы душатъ ниву—напоминающіе о хорошей нивѣ!

Становилось нестерпимо. Я чувствовалъ, что отъ моего лица вѣетъ ненавистью, опасался, что могу выйти изъ рамокъ самообладанія—и поспѣшилъ проститься.

— Уже уходите?

— Да. И васъ боюсь отъ работы отрывать, да и нездоровится что то.

— Ну, на мой счетъ—ничего; успѣю сдѣлать. А нездоровится—другое дѣло.

Я тронулся изъ кабинета батюшки, онъ послѣдовалъ за мной и по моимъ шагамъ замѣтилъ:

— Знаете что? Мнѣ кажется, что вы много лучше ходите, чѣмъ раньше. И тверже, и быстрѣе.

Я тихо отвѣтилъ:

— Да, лучше.

И сжалъ зубы крѣпко,—до боли: «И ты хотѣлъ лечить, да не сдѣлалъ; нашелся другой—тѣло подлечилъ слегка, а душу покрылъ язвами. Черезъ годъ—черезъ два *отъ подлеченія* и слѣда не будетъ, а язвы души всю жизнь почувствуешь...»

Я сталъ одѣвать пальто. Батюшка мнѣ помогъ,—но это уже было совсѣмъ лишнее, ибо я могъ уже безъ труда одѣваться самъ.

Въ Петербургѣ,—отъ постоянной боли въ плечахъ, отъ напряженій сгибать и разгибать полусведенные въ локтяхъ руки,—одѣваться мнѣ было трудно, на тамъ, батюшка, видя однажды

это мучительное одѣваніе, не помогъ мнѣ, а посматривалъ на меня и съ сожалѣніемъ говорилъ:

— Плохо ваше здоровье. Очень плохо.

Тамъ было чувство сожалѣнія, здѣсь—мнѣ помогли одѣться съ чувствомъ уваженія; я чувствовалъ это чувство,—то, когда мы видимъ, что человѣкъ *вдругъ* оказался настолько выше, насколько мы никогда не ожидали; настолько выше, когда мы чувствуемъ необходимость встать съ нимъ на равную ногу. Я принялъ эту услугу холодно: такую монету души я уже не цѣнилъ. Послѣ «фуфаекъ» трудно чѣмъ либо подкупить.

Плохіе мы психологи.

Намъ еще рано говорить «о воспитаніи личности», прежде надо научиться чуткости узнавать личность. Когда я былъ личностью—меня били, въ мою психику заглянуть поглубже не постарались. А когда я началъ утрачивать цѣнности личности, когда наученный слишкомъ горькимъ опытомъ, какъ тяжело и грубо бьютъ за истинную вѣру въ человѣка, за любовь къ нему, когда я начинаю подумывать о томъ, какъ бы отрастить себѣ когти и зубы—тогда меня начинаютъ принимать за личность!

Плохіе мы психологи!

На такихъ психологахъ сбывается пророчество Исаіи: «Слухомъ услышите — и не уразумѣете; и глазами смотрѣть будете — и не увидите: «ибо огрубѣло сердце людей сихъ, и ушами съ

трудомъ слышатъ, и глаза свои сомкнули, да не увидятъ глазами и не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ сердцемъ...» *)

И гораздо большее удовлетвореніе принесло мнѣ то, что за симъ послѣдовало.

Батюшка, когда я уже переступилъ порогъ выходной двери, вдругъ спохватился:

— Въ авансахъ подъ принятыя вещи я не стѣсняюсь. Вашъ разсказъ пойдетъ дня черезъ три—черезъ четыре. Нужны деньги?

Я попросилъ 25 рублей.

Онъ далъ и, сказалъ еще нѣчто, что пріятно было слышать:

— Въ слѣдующій разъ зайдете — я вамъ открою счетъ въ конторѣ, какъ постоянному сотруднику. Пожалуйста, не стѣсняйтесь, когда будетъ нужда въ деньгахъ. Я радъ, что намъ приходится вмѣстѣ работать!

Такъ я былъ приглашенъ въ сотрудники «Правды Господней».

Что изъ этого выйдетъ — посмотримъ.

Отъ иллюзій я теперь далекъ. Буду принимать только факты.

Прошла недѣля.

Я иду къ батюшкѣ вторично. Отдаю ему еще разсказъ, получаю отъ него въ контору газеты распоряженіе, чтобы мнѣ былъ открытъ, какъ

*) Исаія 6, 9—10.

постоянному сотруднику счетъ; беру въ конторѣ еще 25 рублей.

Про первый принятый разсказъ «Чудо» мы обмѣнялись, какъ говорятъ, парой словъ:

— Вашъ разсказъ пойдетъ на дняхъ,—предупредительно заявилъ батюшка:— Я еще на той недѣлѣ хотѣлъ пустить, но забылъ. Теперь передалъ его; черезъ два, три дня его очередь.

Появленіе въ печати моего «Чуда» меня не интересовало; разсказъ въ моихъ глазахъ былъ ничтоженъ. Но изъ вѣжливости надо же было что-нибудь сказать—и я отдѣлался:

— Хорошо. Буду ждать.

Прошло двѣ недѣли, но мой разсказъ не появлялся.

Я не придаю какого либо тревожнаго значенія этому факту, кромѣ предположенія, что задержка одного разсказа—задержитъ и другой. А деньги нужны. Иду къ батюшкѣ утромъ — и не застаю его дома. Откладываю на вечеръ, но къ вечеру у меня лихорадка. Прошу сходить жену. Она идетъ. Часа черезъ два возвращается и... новая манна съ неба!

— Знаешь: у меня работа находится... Я такъ рада. Рада безъ конца!

— Что такое?

Оказывается, батюшка разговорился съ же-

ной, узналъ, что она слушательница высшихъ женскихъ курсовъ и предложилъ: не возьмется ли она для «Правды Господней» давать отчеты о лекціяхъ?

— Я, конечно, за это ухватилась. И завтра же ѣду на лекцію профессора Озерова. Отчетъ въ 120—въ 150 строкъ—и за это десять рублей; рубль, кромѣ того, на извозчика. И это въ одинъ вечеръ! Такіе пустяки работы: на три-четыре часа. И десять рублей! Я безъ конца рада!

— Ну, а что съ моимъ разсказомъ?

Восторженное состояніе слетаетъ съ жены въ одинъ мигъ. Она помолчала.

— Видишь-ли... Когда я о разсказѣ напомнила—батюшка и самъ удивился: почему разсказъ до сихъ поръ не напечатанъ? Попросилъ меня справиться у соредактора. (Отрекомендовалъ мнѣ этого соредактора бывшимъ товарищемъ по семинаріи). Я иду. И встрѣчаю: я о дѣлѣ спрашиваю, а передо мною пошло расшаркиваются!.. Такихъ господъ я не выношу.

Глаза у жены сдѣлались угрюмо-злые. Я представляю себѣ: какимъ милымъ взглядомъ она встрѣтила попытку г. соредактора «быть любезнымъ съ молодой дамой»—и не могу удержаться отъ улыбки.

Жена улыбку замѣчаетъ:

— Тебѣ смѣшно?

— Да. И жаль, г. соредактора. Взглядъ у тебя въ такихъ случаяхъ дѣйствительно очень

тяжелъ. Но все-таки, чѣмъ же дѣло-то кончилось?

— Ничѣмъ. Не выношу я такихъ «винтовъ». Онъ вдругъ осѣлся и преднамѣренно долго сталъ рыться въ рукописяхъ, а я заявила: «мужъ придетъ справиться о разсказѣ самъ». И ушла. Непріятный господинъ! Или—и убѣдишься.

Я на другой день иду.

И убѣждаюсь, что г. соредакторъ «изъ бульварныхъ господъ», фатъ изъ тѣхъ, на которыхъ даже костюмъ выглядитъ особенно: ярче оттѣняетъ единственное достоинство своего хозяина—пошлость! Меня г. соредакторъ принялъ иначе, чѣмъ «даму».

— Чѣмъ могу служить?—выбросилъ онъ грубо, басомъ, и высокомѣрно окинулъ меня взглядомъ сверху внизъ.

И крутилъ усы. Крутилъ тѣмъ увѣренно-привычнымъ движеніемъ руки, которое сразу даетъ чувствовать, что рука этого человѣка полжизни занята только своими усами. Конечно, къ усамъ такіе господа желаютъ имѣютъ и кое-какіе придатки—и чѣмъ ни больше имъ удастся въ этомъ смыслѣ, тѣмъ болѣе крутятся усы и, тѣмъ болѣе гордаго величія на не величавыхъ отъ природы физіономіяхъ: внѣшность г. соредактора была типично-семинарская.

Я медлилъ отвѣтомъ: ужъ слишкомъ великолѣпная фигура была передо мной.

Я любовался имъ; любовался до такой степе-

ни—такъ и подмывало этому господину сказать:

— Слушайте, покажите-ка лучше, какъ вы можете гнуться передъ тѣми, кто можетъ содѣйствовать вашимъ житейскимъ успѣхамъ? Бросьте этотъ грубый тонъ, высокомѣрные взгляды: вѣдь лакейскую душу никакими гордыми масками не прикроете!

Онъ что-то въ моемъ молчаніи почувствовалъ— и еще болѣе грубо, съ нескрываемыми нотами раздраженія, повторилъ:

— Чѣмъ могу служить?

Я слегка улыбнулся и изложилъ суть дѣла.

Онъ мнѣ отвѣтилъ снисходительно-самодовольной улыбкой:

— А! Да, да. Разсказъ «Чудо» у меня. Но не знаю, когда онъ пойдетъ въ печать. Матеріалу у насъ много.

Я только что хотѣлъ сказать ему, что напечатаніе разсказа мнѣ обѣщано давно — но онъ меня внезапно остановилъ:

— Ахъ, да! Такъ это ваша жена справлялась у меня насчетъ вашего разсказа.

Я подтвердилъ:

— Она.

И тоже внезапно:

— А что?

Онъ вспыхнулъ, посмотрѣлъ на меня — грозно и недоумѣвающе,—и дѣлано небрежно бросилъ:

— Да ничего. Странный вопросъ!

А рука, та рука, которая привыкла всегда специализироваться на усахъ и отражать всѣ смѣны внутреннихъ переживаній и настроеній—эта рука вдругъ перемѣнила курсъ и выдала бѣднаго человѣка: то крутилъ и холилъ усъ плавно, съ чувствомъ собственнаго достоинства и немалаго значенія своей особы, какъ и подобаетъ величію, а тутъ вдругъ пальцы руки заерзали по усамъ въ быстрыхъ, смущенно-вороватыхъ движеніяхъ!

Углубленный въ наблюденія, я медленно говорилъ:

— Такъ, значитъ. Это печально. А мнѣ батюшка уже давно обѣщалъ пустить мой разсказъ въ печать.

Опять снисходительно-самодовольная улыбка— не только по моему адресу, но уже и по адресу батюшки—и опять перемѣна курса: рука въѣхала въ знающую себѣ цѣну колею.

— Батюшка? Онъ, вообще, мало что знаетъ. Онъ наобѣщаетъ Богъ знаетъ что—и все забудетъ. Ко мнѣ обращайтесь, а не къ нему, фактически-то, вѣдь, я здѣсь всѣмъ завѣдую. Батюшкѣ врядъ до своихъ писаній.

Я наклонилъ слегка голову:

— Приму къ свѣдѣнію.

А онъ помолчалъ—и добавилъ:

— Вы не слышали отъ него его излюбленной пословицы «своя болячка къ тѣлу ближе?»

Что-то гнусное по скрытому презрѣнію и наглости прозвучало въ этомъ вопросѣ—до такой

степени гнусное, что я на его вопросъ промолчалъ и... поспѣшилъ откланяться.

Онъ меня удостоилъ гордымъ, едва замѣтнымъ движеніемъ головы.

Когда я вернулся домой—жена меня встрѣтила лаконично:

— Ну?

Я не хотѣлъ высказать женѣ, зародившихся во мнѣ опасеній, что отъ этого господина намъ, пожалуй, не поздоровится, и коротко отвѣтилъ:

— Ты, по моему, не ошиблась.

— И никогда не ошибусь. До болѣзненнаго отвращенія насмотрѣлась на такихъ. Гдѣ на такихъ не натолкнешься? Человѣка рѣдко встрѣтишь, а такіе «винты» на каждомъ шагу. Но то— въ театрѣ, на бульварѣ, на улицѣ,— а здѣсь: я поражена, что такіе люди имѣются и въ редакціяхъ! Мнѣ непріятно думать, что встрѣчи съ нимъ окажутся неизбѣжны.

Я попытался отъ такихъ «думъ» ее отвлечь и съ насильственной улыбкой спросилъ:

— Почему непремѣнно «винтъ», а не еще какъ нибудь?

Жена въ раздумьѣ пояснила:

— Право, не знаю. Но, когда еще я была гимназисткой четвертаго класса и стала замѣчать, что не только за ученицами старшихъ классовъ, но и за нами, дѣвочками, слѣдятъ и пристаютъ однѣ и тѣже рожи—тогда у меня и явилось

такое опредѣленіе. Да такъ съ тѣхъ поръ и осталось.

«Винтъ?» «Правда Господня»—и «винтъ?!»

Посмотримъ, чѣмъ такой «винтъ» проявитъ себя еще? Безошибочно кажется будетъ: добра отъ него не жди!

Вечеромъ этого же дня жена поѣхала на лекцію. А на другой день въ восьмомъ часу утра отчетъ о лекціи потащила къ батюшкѣ. Пошла утомленная, разбитая, ибо проработала надъ отчетомъдо четырехъ утра—а вернулась оживленная, бодрая.

Я радъ ее видѣть въ такомъ состояніи и со смѣхомъ встрѣчаю:

— «Винту» отчетъ передала?

— Ну, нѣтъ. Я его постараюсь избѣгать. Передала батюшкѣ. Просмотрѣлъ и одобрилъ. Разговорились. Такой хорошій человѣкъ! Я, между прочимъ, высказала, что тоже когда нибудь попытаюсь писать; пока, говорю, мало чувствую за собою знанія жизни и людей: подожду и буду всматриваться. А онъ подхватилъ: «Напишите что нибудь и принесите мнѣ; если подойдетъ—съ удовольствіемъ напечатаю». Такой онъ хорошій человѣкъ!

Потомъ выкладываетъ десятирублевку на столъ.

— А вотъ, и деньги. Не дурно: десять руб-

лей за нѣсколько часовъ? Какъ я благодарна... Такой онъ...

Внезапно жена обрывается и заглядываетъ мнѣ въ глаза. Я молчу. Она это молчаніе понимаетъ.

— Ты все не можешь забыть того... Петербурга? Я согласна: забыть совсѣмъ трудно. Но... Мягко жена беретъ мою руку и засматриваетъ мнѣ въ лицо тихимъ примиряющимъ взглядомъ:

— ... давай, родной, учиться смотрѣть на людей полегче: научимся прощать. Тяжело жить и носить въ сердцѣ не только гнѣвъ, ненависть, злобу, но даже и боль воспоминаній. Знаешь, сколько горя, какой ужасъ я пережила и, если бы все это помнила—это меня давно бы раздавило. Научимся, родной, прощать, забывать—легче будетъ жить.

Я молчу. И вижу, какъ мое молчаніе заставляетъ страдать жену. Оживленіе, бодрость, эта безгранично-милая и святая благодарность «къ такому хорошему»—все это исчезаетъ съ ея лица и замѣняется глубиной скорби.

Велика красота игры лица человѣка, когда оно живетъ счастьемъ, радостью, мужествомъ, наконецъ, мудрымъ презрѣніемъ, но страшно лицо, когда съ него внезапно схлынутъ всѣ краски жизни, когда лицо отражаетъ только одно—глубину скорби: душа человѣка все въ силахъ простить, но все тяжкое оставить на ней свой слѣдъ, свою нестираемую память.

И велики въ своемъ страданіи эти поборники

скорби: радость ихъ—радость не за себя, и скорбь ихъ—скорбь за всѣхъ. Они,—то *едино-великое*, передъ чѣмъ нужно поклониться и каяться, хотя бы ты передъ ними былъ и не виноватъ: это скорбь Бога! Ибо міръ—міръ вѣчно распятаго въ мірѣ Бога. Эгоизмъ святыхъ, отмежевавшихся отъ зла міра—или безсиліе, или богопротивная вещь.

Кто не съ мечомъ противъ бездушія и безсердечія—тотъ безплодная частица одного огромнаго цѣлаго «Я». Кто не съ мечомъ—въ томъ значитъ нѣтъ сознанія отвѣтственности за все цѣлое «Я...»

Пытался я жену успокоить:

— Не волнуйся. Ничего... Правда: больно! Нѣтъ иногда ни злобы, ни ненависти, но больно всегда. Но дай время пережить, переболѣть; можетъ быть, все это перемелется и мука будетъ.

И говоря это—я улыбался. Улыбался, но не было еще въ душѣ солнца, что въ силахъ буду «переболѣть до муки».

Жена горячо пожелала:

— Дай Богъ. Дай Богъ, тебѣ этого блага!

Пять дней жена усердно проработала надъ своимъ первымъ разсказомъ.

Кончила его, понесла къ батюшкѣ и... вернулась съ пріятными вѣстями.

— Везетъ... Удивительно везетъ! Тутъ же просмотрѣлъ батюшка разсказъ, сдѣлалъ два незначительныхъ указанія, но въ общемъ разсказъ одобрилъ и далъ совѣтъ писать дальше.

У меня невольная ироническая улыбка.

— Только одобрилъ? Одобрить, вѣдь, ничего не стоитъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же... Разсказъ этотъ обѣщалъ устроить въ журналъ «И» при газетѣ «Р. С.»

— Категорически обѣщалъ?

— И этого нѣтъ. Сказалъ, что попытается устроить въ «И», такъ какъ находитъ, что для «Правды Господней» разсказъ слишкомъ интеллигентенъ. Но если почему либо въ «И» разсказъ не возьмутъ—тогда напечатаетъ у себя.

У меня чувство облегченія; я радъ за батюшку, что наконецъ-то онъ умудряется быть осторожнымъ до того, чтобы не создавать людямъ ложныхъ надеждъ. Подальше отъ категорическихъ обѣщаній! Такъ лучше: и другому горечи не принесешь и своего вліянія не переоцѣнишь.

Но такое чувство только на моментъ. Всплываетъ мое прошлое; опять злыя предчувствія, опять боязнь, что не могъ батюшка *переродиться* за такой короткій срокъ: а вдругъ, послѣ всѣхъ благихъ обѣщаній онъ внесетъ въ душу жены тоже, что и мнѣ?

Жена показываетъ мнѣ двѣ книги—біографіи Веніамина Франклина и Авраама Линкольна.

— А вотъ и еще работа. Все главное, существенное изъ каждой біографіи я должна выбрать и связать въ 600—700 строкъ. Надъ каждой біографіей 2-3 дня работы—и 30-35 рублей. Недурно? А черезъ три дня опять лекція! Этакъ мы очень скоро поправимся. Я такъ рада, что намъ теперь не грозятъ голодовки.

Я молчу. Я убиваю радость жены: съ чувствомъ глубоко страдающей матери она тихо припадаетъ ко мнѣ и говоритъ:

— Родной, а ты молчишь? Ты все молчишь: это меня безпокоитъ. Скажи, что-нибудь. Ну, о чемъ ты думаешь?

О чемъ я думаю?

Я чувствую, что если начать говорить о томъ, что я думаю—я, можетъ быть, наскажу много лишняго, преждевременнаго.

Ядовитая волна прошлаго топитъ меня, душитъ горло до того, что если бы я и захотѣлъ говорить, я спокойно не могъ бы.

И я пишу:

> «Родная. Тамъ, гдѣ дѣйствительность творится людьми, неуясняющими себѣ вполнѣ своихъ дѣйствій и поступковъ, тамъ атмосфера полна жестокихъ разочарованій: скоро создаются иллюзіи и скоро исчезаютъ. Тамъ человѣческая душа—игрушка: чѣмъ ни болѣе въ ней блеска, тѣмъ скорѣе ея грязными и грубыми руками захватаютъ, тѣмъ скорѣе

ее разобьютъ. Первый въ мое сознаніе вложилъ такое понятіе—батюшка. И если онъ съ тобою не поступитъ такъ-же, какъ поступилъ со мной, если на почвѣ его участія къ тебѣ выростутъ не плевелы, а пшеница—я безконечно буду радъ и за тебя и за него. Тогда всѣ недостойныя мысли о немъ я возьму обратно; сочту ихъ заблужденіемъ, неправильной оцѣнкой и т. д. Словомъ, тогда я во всемъ обвиню себя, покаюсь передъ нимъ... А пока... Прости за это «пока, родная»!

Жена прочла и долго думала. А потомъ... горячо засѣла за работу. Я смотрю украдкой на ея лицо и вижу, что ей страстно хочется вѣрить въ то, что съ ней такъ *не поступятъ*. Страстно хочется вѣрить не за себя, а за меня: тогда заживутъ мои душевныя язвы; она, маленькая женщина, дастъ моей душѣ миръ, вернетъ утраченную вѣру въ людей!

Я смотрю на нее и, съ удвоенной силой переживаю ту боль, которую мнѣ дали прежде батюшка, потомъ Горькій.

Такъ, какъ жена, и я когда-то горячо работалъ, но... облетѣли цвѣты, догорѣли огни!

Пусто и холодно на душѣ. И кажется, что нѣтъ уже того человѣка, нѣтъ того чуда, которыя бы возродили тебя къ тому, чѣмъ ты былъ.

Я смотрю на нее и страстно желаю: не дай Богъ ей пережить этого!

Она работаетъ. Я тоже. Но какая разница! Она работаетъ съ любовью, подобной благоухающему прекрасному цвѣтку; я—мнѣ нуженъ большой отдыхъ гдѣ-нибудь въ глухомъ углу, въ тишинѣ и уединеніи полей; мнѣ необходимы годъ или два такой жизни, чтобы осмыслить «смертельный ушибъ», но отдыха нѣтъ, онъ гдѣ то впереди, можетъ быть, его и совсѣмъ не будетъ,—и я работаю. Работаю тупо, упрямо, съ тѣмъ больнымъ, изступленнымъ напряженіемъ, которое ведетъ къ еще большому упадку, въ концѣ концовъ—къ безумію. Я сознаю это и говорю себѣ: «Пускай. Пускай будетъ, что будетъ! Выбора нѣтъ».

Все въ моей душѣ—какъ будто бы груда остывшаго пепла; но копни—и обожжешься: подъ пепломъ скрытъ огонь ненависти.

Это все, что мнѣ дали мои «учителя».

А вотъ и сюрпризы!

То, что подогрѣваетъ мою теперь иную «любовь», къ милому человѣчеству; то, что по временамъ уже прямо кажется: только это одно даетъ мнѣ силу жить!

Иду къ г. соредактору. На мой вопросъ, какъ обстоитъ дѣло съ разсказомъ, который я от-

далъ послѣ перваго,—«Винтъ» мнѣ преподноситъ:

— Я просматривалъ этотъ разсказъ. Плохая вещь. Не могу его взять.

Я тоже хотѣлъ ему преподнесть:

— Этотъ разсказъ у меня когда-то просматривалъ батюшка и одобрилъ его.

«Винтъ» и глазомъ не моргнулъ:

— То онъ, а это я. Разныя точки зрѣнія. И гордо закрутилъ усъ.

Я нашелъ, что это уже черезъ чуръ.

Забракованная г. соредакторомъ вещь—была разсказомъ «Въ заводѣ». Одобренная, въ мою бытность въ Петербургѣ, батюшкой настолько, что дала ему мысль устроить меня при большой газетѣ постояннымъ сотрудникомъ,—эта же вещь послужила для Горькаго показателемъ, что я человѣкъ не безъ дарованія, эта вещь заставила его принять во мнѣ участіе; мало этого—эта вещь была мной передѣлана по указаніямъ Горькаго—(содержаніе осталось тоже, но улучшена внѣшняя сторона, усилены впечатлѣнія, углублены важные штрихи) и вдругъ... заявленіе, что вещь «плохая», заявленіе отъ лица, которое было совершенно невѣдомой величиной въ литературномъ мірѣ *).

*) До поста г. соредактора этотъ господинъ служилъ гдѣ-то и чѣмъ-то въ земствѣ; умерла «Правда Господня»—этотъ *высокій авторитетъ* вмѣсто того, чтобы проявить себя въ литературѣ „хорошими вещами", почему-то не сдѣлалъ этого и ушелъ опять въ земство. Такимъ компетентнымъ лицамъ батюшка давалъ неограниченную власть надъ судьбой рукописей начинающихъ писателей!

Я нахожу, что «Винтъ» зарывается уже черезъ чуръ—и иду къ батюшкѣ. Застаю его за работой. Рѣшаю было отложить объясненія до другого раза, но онъ проситъ не стѣсняться и высказать въ чемъ дѣло. Между нами происходитъ слѣдующій діалогъ.

— Г. С... вашъ соредакторъ не принимаетъ у меня того разсказа, который я принесъ вамъ послѣ «Чуда».

— Почему не принимаетъ?

— Говоритъ: плохъ.

— А вы этого не допускаете?

— Шедевромъ я этотъ разсказъ не считаю, но для «Правды Господней» нахожу его подходящимъ.

— Хорошо. Я просмотрю его самъ.

— Г. С... эту вещь вы уже читали. Помните разсказъ «Въ заводѣ»?

Батюшка очнулся. До этого онъ говорилъ—далекій отъ нашего разговора: думалъ о томъ, надъ чѣмъ работалъ.

Онъ очнулся—удивленно поднялъ брови.

— Не можетъ быть! Какъ же: я не забылъ этого разсказа. Хорошо написанъ. Впечатлѣній много. Я даже—не такъ давно вспомнилъ о немъ и думалъ предложить, чтобы вы его дали намъ.

Я подчеркнулъ:

— Вотъ и далъ. И далъ уже въ передѣланномъ видѣ: выправлены внѣшніе дефекты, усилены впечатлѣнія.

Батюшка очнулся: замѣтилъ мое возбужденное состояніе.

— Ну, ничего. Успокойтесь. Я все это устрою. Странно мой соредакторъ взглянулъ на этотъ разсказъ: къ нашей газетѣ онъ какъ нельзя лучше подходитъ. Успокойтесь. Это недоразумѣніе я постараюсь уладить.

Я пошелъ домой, но «успокоиться» мнѣ было не легко. Чувствовалъ я, что въ заявленіи соредактора, что мой разсказъ «плохъ»—не одно только невѣжество. Въ «Правдѣ Господней», за очень рѣдкими исключеніями, печаталась такая убогая и противная мораль, точно аудиторія этой газеты дѣти отъ 5 до 7 лѣтъ; про языкъ и говорить нечего: писали, въ полномъ смыслѣ этого слова, литературно-безграмотные люди.

И ничего. Печатались и печатаются.

Чувствовалъ я, что въ лицѣ соредактора—не одно только невѣжество, но и походъ низкой душонки противъ меня: вѣдь, пошлость тоже тонко чувствуетъ, когда наталкивается на враговъ, не желающихъ гнуть передъ нею шею.

И никогда этого не прощаетъ!

Въ своихъ истинно-человѣческихъ пожеланіяхъ человѣчество уподоблено: «улита ѣдетъ».

Но за то низость энергична: она никогда не дремлетъ!

Я написалъ статью около 700 строкъ. Матеріаломъ къ этой статьѣ мнѣ послужили письма одного крестьянина, нѣкоего Бѣлянина.

Живетъ Бѣлянинъ въ деревнѣ; въ ней и родился. Земледѣліемъ не занимается. Дѣдъ его былъ портнымъ, отецъ тоже и, его съ дѣтства пріучили къ этому.

Но съ ранняго дѣтства душа къ такому дѣлу не лежала. Работать-работалъ, ибо работать необходимо; съ 20 лѣтъ на его плечахъ не малая осталась обуза: слѣпой отецъ, дряхлая бабушка, жена умершаго брата съ нѣсколькими дѣтями. Позже — женился самъ и своими карапузами Богъ не обижалъ.

Къ 40 лѣтамъ у Бѣлянина въ домѣ до 15 ртовъ. У самаго здоровье незавидное, но держалъ одного-двухъ работниковъ и кое-какъ перебивался.

Бѣлянинъ приходился родственникомъ моей женѣ: дядя по матери. Отсюда—переписка жены съ Бѣлянинымъ.

Два десятка писемъ. Грамотныхъ писемъ. Глубоко выстраданныхъ: къ несчастью своему этотъ человѣкъ родился съ даромъ изобрѣтателя.

Въ деревенской глуши, въ средѣ осмѣивающей его темноты, онъ въ свободное время от-

давалъ «дань-муку» этому дару: работалъ надъ собой.

Одинъ. Самоучкой.

Къ 30 лѣтамъ человѣкъ знакомится съ физикой, математикой, механикой, со знаніемъ чертежныхъ работъ.

Все далось, конечно, со страшнымъ трудомъ, но Бѣлянинъ головы не опускалъ: къ 35 лѣтамъ онъ изобрѣтаетъ крайне-упрощенную по конструкціи паровую машину. Къ 35—а только къ 40 ему удается получить привилегію на свое изобрѣтеніе.

Человѣкъ самъ не знаетъ, куда ему обратиться и проситъ объ этомъ помѣщиковъ, земскихъ начальниковъ, предводителей дворянства.

Всѣ обѣщаютъ ему помочь въ полученіи привилегіи,—но тянутъ время безбожно и, когда привилегія получена—на одно это убито пять лѣтъ! Но ничего. Изобрѣтатель воспрянулъ духомъ: теперь-то онъ найдетъ предпринимателя на эксплоатацію его изобрѣтенія!

Но, увы! Еще пять лѣтъ — и ужасное сознаніе: куда ужъ до того, чтобы оцѣнили человѣка, поощрили трудъ его — не находится и настолько добраго человѣка, который бы взялъ на себя трудъ направить чертежи къ такому лицу, которое могло бы оцѣнить насколько цѣнно или не цѣнно изобрѣтеніе.

Этого нѣтъ. Наоборотъ.

Всюду улыбки ироническія, пожатія плечъ: ну, какой, молъ, изобрѣтатель! Изъ мужиковъ-то?

Письма Бѣлянина раскрывали всю его трагедію. Его медленную и страшную работу; его мытарства, когда шли хлопоты о привилегіи, его поиски предпринимателя и, наконецъ, мучительное признаніе того, что онъ родился не при такихъ условіяхъ, при какихъ бы ему слѣдовало родиться.

Несчастный человѣкъ прозябающій въ глуши, не имѣющій возможности слѣдить за прогрессомъ техники, изобрѣтающій паровую машину уже въ вѣкъ электричества, *изобрѣтающій машину будучи портнымъ по профессіи* — этотъ мученикъ своего дара упалъ духомъ и рѣшилъ, что убита вся жизнь на работу Сизифа.

Съ механикой я немного знакомъ и по чертежамъ видѣлъ, что на эксплоатацію его машины есть еще надежда: это поразительно упрощенная конструкція машины—то, что могло давать большую экономію при фабрикаціи ея въ сравненіи съ типомъ существующихъ машинъ.

Геній портного не слѣпо творилъ: все, что онъ видѣлъ—это паровыя машины и, изобрѣтая свою—онъ внесъ въ нее усовершенствованія.

Когда я принесъ эту статью батюшкѣ, онъ сказалъ, что очень занятъ, что читать ему некогда, и попросилъ меня пояснить суть статьи.

Я пояснилъ. Онъ изобрѣтателемъ заинтересовался и далъ слово статью напечатать на дняхъ.

Я заявилъ, что гонорара за эту статью не возьму и, давая адресъ Бѣлянина, попросилъ, чтобы гонораръ былъ отосланъ ему.

Батюшка удивился:

— Почему не хотите гонораръ себѣ?

Я отговорился, что мой трудъ на эту статью не великъ: вся статья построена почти на выдержкахъ изъ писемъ Бѣлянина.

— Такъ что же изъ этого? Все таки, вѣдь, вы писали. Выдержки - выдержками, а связать ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ—надъ этимъ надо-же подумать?

Изъ скромности я не высказалъ мысли, что мнѣ претитъ пользоваться деньгами, когда я писалъ про несчастье человѣка и, отдѣлался я тѣмъ, что Бѣлянинъ очень бѣденъ и мнѣ бы хотѣлось ему помочь.

Прошла недѣля, а моей статьи о изобрѣтателѣ не появлялось.

О своихъ двухъ разсказахъ я рѣшилъ не спрашивать. Всѣ эти обѣщанія и удивленія о разсказѣ «Чудо»—почему, молъ, онъ до сихъ поръ не печатается, обѣщаніе уладить *недоразумѣніе* съ разсказомъ «Въ заводѣ»—обо всемъ этомъ я рѣшилъ не заикаться изъ двоякаго чувства: изъ чувства собственнаго достоинства, и изъ чувства—руководитель «Правды Господней» все только еще *обѣщаетъ,* такъ будемъ выжидать, пока онъ *выполнитъ*!

Это тоже мѣрка собственнаго достоинства:

долженъ же онъ знать грань, когда съ обѣщаніями необходимо считаться!

До выясненія этихъ вопросовъ я рѣшилъ въ «Правду Господню» ничего не носить.

Но статья, статья для меня была вещью, въ которой я ни съ какой стороны, кромѣ простого человѣческаго сочувствія, заинтересованъ не былъ—и это меня заставило пойдти за справками.

Иду къ батюшкѣ около одинадцати утра; мягко освѣдомляюсь:

— Г. С... вы просмотрѣли ту статью? *)

Не напоминаю о томъ, что за это время она уже *обѣщана быть напечатанной.*

— Нѣтъ, не читалъ. Я ее передалъ соредактору, а онъ тутъ съ однимъ сотрудникомъ рѣшили пока эту статью въ печать не пускать, до выясненія нѣкоторыхъ вопросовъ о ней. Кстати: этотъ сотрудникъ сейчасъ здѣсь; идемте—переговорите съ нимъ лично.

Изъ кабинета мы переходимъ въ столовую. Пришлось познакомиться съ сотрудникомъ, о которомъ шла рѣчь—г. С.

Былъ тутъ и г. соредакторъ. И, конечно... спеціализировался на своихъ усахъ и, гордо, съ высоты своего величія удостоилъ меня полупрезрительнымъ взглядомъ и... двумя пальцами руки.

*) Когда я сдавалъ статью, я къ ней приложилъ привилегію и чертежи.

Оказалось, что статья и документы были уже у г. С.

С. началъ передавать, что онъ съ чертежомъ обращался къ какому то извѣстному инженеру и послѣднiй вынесъ заключенiе, что помимо крайне упрощенной конструкцiи машины, она въ сравненiи съ типомъ существующихъ машинъ будетъ еще впереди и потому: дастъ до 60% экономiи въ топливѣ.

Батюшку это вдохновило. Онъ горячо заговорилъ о горькой судьбѣ талантливыхъ самородковъ въ Россiи; г. С. пѣлъ ему въ униссонъ, но... чувствовалось, что этотъ господинъ далекъ отъ того, надъ чѣмъ искренно скорбѣлъ батюшка.

А соредакторъ оставался уже совершенно безучастнымъ, какъ къ Бѣлянину, такъ и ко всѣмъ талантливымъ самородкамъ вообще: вѣрная рука крутила усъ и говорила: «Намъ де—это въ высокой степени все безразлично»!

И хоть бы изъ вѣжливости дѣлалъ видъ, что слушаетъ, какъ проливаются платоническiя слезы батюшкой. И этого нѣтъ: пялилъ глаза то на потолокъ, то блуждалъ по стѣнамъ. Ему было скучно!

Я жадно наблюдалъ его: «Генiй. Страшный генiй»!

Страшнаго на физiономiи ничего: самовлюбленное, упитанное рыло, съ тѣмъ тупымъ величiемъ, которое, кромѣ невольнаго презрѣнiя и смѣха не вызываетъ ничего.

Но не засмѣешься. Ибо не до смѣха, когда присмотришся къ этому рылу, къ тому, какъ неустанно крутятся усы: вотъ она воплощенная низость и пошлость,—страшный ураганъ, который, если гдѣ пройдетъ, то не оставитъ живого, чистаго: постарается съ корнемъ вырвать!

Ушелъ я успокоенный: батюшка при мнѣ заявилъ соредактору, что съ напечатанiемъ статьи о Бѣлянинѣ слѣдуетъ поспѣшить. И даже взялъ у меня адресъ:

— Я этому изобрѣтателю напишу *).

Г. соредакторъ на то, что «съ напечатанiемъ статьи слѣдуетъ поспѣшить»—молча и небрежно кивнулъ головой, а потомъ... всталъ и ушелъ въ комнату рядомъ со столовой: вѣроятно затѣмъ, чтобы его не отвлекали отъ его высокихъ думъ.

Но... прошла недѣля — статья не появилась. Идти въ третiй разъ на объясненiе—выше моихъ силъ: не могъ побороть отвращенiя. Я окончательно рѣшаю, что въ «Правдѣ Господней» мнѣ не работать: я тамъ не ко двору!

Буду толкаться въ другiя двери—а сюда... Лѣзть съ реабилитацiей, говорить, что тебя затираютъ—противно.

*) Я потомъ запрашивалъ Бѣлянина: писалъ-ли ему батюшка? Оказалось: доброе побужденiе батюшки осталось только... добрымъ побужденiемъ.

Но статью о Бѣлянинѣ хочется видѣть напечатанной: можетъ быть, кто нибудь изъ капиталистовъ заинтересуется и дастъ ходъ изобрѣтенію.

Пользуюсь случаемъ:—жена одну изъ своихъ работъ несетъ къ батюшкѣ и прошу ее справиться о статьѣ...

Вернулась жена съ видомъ, по которому я сразу почувствовалъ, что вѣсти не изъ пріятныхъ.

Помолчалъ и спрашиваю:

— Ну, какъ?

— Ничего.

— Такой отвѣтъ мнѣ тоже *ничего* не говоритъ.

Помолчала и она. Я это молчаніе принялъ за ея неудачу.

— Взялъ твою работу батюшка?

— Взялъ.

— Удачна оказалась?

— Ничего. Сдѣлалъ одно небольшое замѣчаніе, а потомъ — комплименты. Намѣчаетъ еще рядъ такихъ же работъ для меня.

Я живу по отношенію къ редакціи «Правды Господней» исключительно недобрымъ — и замѣчаю:

— Намѣчать-то намѣчаетъ, а когда печатать будетъ?

— Не ранѣе весны.

— Такъ трудно. По моему, ты должна говорить, чтобы гонораръ тебѣ платился, когда сдашь вещь, а не когда она напечатается.

Жена смущается.

— Не могу дѣлать такихъ оговорокъ. Да и не къ чему: Г. С., мнѣ почти всегда напоминаетъ, чтобы я не стѣснялась, когда нужны деньги.

Я даю совѣтъ выбирать авансами стоимость сдаваемыхъ работъ, но жена и тутъ не соглашается:

— Не могу. Это какъ то неловко. А потомъ... родной, не сердись: но ты слишкомъ уже становишся подозрителенъ. Это крайность. Крайность унижающая тебя и оскорбляющая Г. С.. Я не допускаю мысли, чтобы мнѣ не заплатили за взятыя отъ меня вещи. Это невозможно! Вѣдь, не съ кулакомъ дѣло имѣю? Пойми это. Ты прямо боленъ. Это какая то манія.

Я полуизвиняюсь:

— Ну, прости, родная. Можетъ быть, я и неправъ. Но дѣло то вотъ въ чемъ: твои дѣла пока въ порядкѣ, а ты все-таки почему-то не въ духѣ.

Опять жена помолчала.

— Не за себя, а за тебя. Сходи въ редакцію самъ. Выходитъ гадость. Когда я спросила Г. С. насчетъ твоей статьи — оказывается, что соредакторъ и г. С. будто бы нашли, что статью въ такомъ видѣ печатать нельзя: форма статьи, будто-бы, не та. И вотъ С. хочетъ передѣлать ее по-своему. Я нахожу, что это уже слишкомъ безцеремонно.

Еще помолчала.

— Говорила батюшкѣ: ознакомились бы вы со статьей сами; можетъ быть, тогда нашли бы, что статья годна и въ такомъ видѣ. Выслушалъ онъ и нахмурился: «Да, конечно, это было бы лучше. Но у меня своя работа. Некогда. Своя болячка къ тѣлу ближе! Должна сознаться, что послѣдняя фраза «о своей болячкѣ» меня какъ то особенно непріятно рѣзанула по сердцу.

Мнѣ сразу припоминается соредакторъ, когда спрашивалъ меня, а не слышалъ ли я отъ батюшки его излюбленной пословицы: «Своя болячка къ тѣлу ближе».

И сразу становится понятнымъ: почему соредакторъ такъ безбоязненно проявляетъ свою «личность» при редакціи «Правды Господней».

Пошлость сокращается и носитъ маску благородства, насколько она вообще можетъ носить такую маску, тамъ, гдѣ она чувствуетъ, что ей нельзя развернуться, ибо при всякой такой попыткѣ ей укажутъ на дверь; но тамъ, гдѣ она прозрѣваетъ, что «Правда Господня» это только миѳъ, фикція, что *прежде всего* «своя болячка къ тѣлу ближе»—тамъ пошлость торжествующе выпускаетъ свои когти во всю.

Я немедленно отправился къ батюшкѣ. Мое возбужденное состояніе требовало объясненій не только по поводу статьи, но и объ остальномъ.

Спросить:

Почему не печатается до сихъ поръ разсказъ «Чудо?»; улажено ли недоразумѣніе съ разсказомъ «Въ заводѣ»

Но и тутъ я сдержался.

Не ребенокъ руководитель «Правды Господней!». Долженъ понимать, что иные вопросы по много разъ не повторяются: о чемъ больно напомнить разъ-два—съ этимъ часто лѣзть не будешь. Да и стоитъ ли вообще напоминать устно? Развѣ мои появленія не напоминаютъ ему о невыполненныхъ передо мною обѣщаніяхъ? Если память плоха,—такъ чуткій человѣкъ по чувствуетъ это инстинктивно.

И я заговорилъ только по существу статьи. Тонъ мой, несмотря на всѣ мои усилія быть спокойнѣе, звучалъ рѣзко.

— Г. С... я считаю, что вашъ сотрудникъ С... не имѣлъ права распоряжаться моей статьей, какъ ему заблагоразсудится. Это значитъ не имѣть самаго элементарнаго уваженія къ труду другихъ.

Батюшка... онъ улыбнулся!..

— Почему вы такъ думаете?

— Потому. Вообразите себѣ. Вы напишите вещь, а кто нибудь, совершенно неизвѣстное вамъ лицо, не предупреждая васъ объ этомъ, находитъ, что ваша вещь написана не въ той формѣ, какая бы по его мнѣнію должна быть; находитъ и берется за передѣлку вашей вещи по своему вкусу—безъ вашего вѣдома, не забо-

тясь нисколько о томъ: согласны-ли вы на это? позволяете-ли? Вообразите себѣ такую вещь и подумайте: какъ бы вы къ этому отнеслись? *)

Батюшка помялся:

— Да... Это, конечно... Не совсѣмъ въ порядкѣ вещей. Но... это еще можно уладить. Статья у С. Идите и переговорите съ нимъ. Вотъ вамъ его адресъ.

Онъ нагнулся надъ столомъ, набрасывая адресъ С., а я смотрѣлъ на него съ болью въ душѣ.

И это главный руководитель газеты съ такимъ названіемъ?! Надъ трудомъ задавленнаго человѣка творятъ возмутительное насиліе, а у руководителя газеты находятся только жалкія слова: «Идите и переговорите съ нимъ». Больше ничего, кромѣ этихъ словъ... Какое убожество духа?!

Беру адресъ и отправляюсь къ С. Застаю у него одного изъ сотрудниковъ «Правды Господней» нѣкоего г. В. Этотъ В. имѣлъ плачевный видъ: одѣтъ въ очень грязный, ватный пиджакъ, на ногахъ огромные опорки изъ теплыхъ сапогъ, обшитыхъ кожей. Лицо его—отекшее, съ характерной для алкоголиковъ багрово-синей окраской, ясно говорило, что этотъ человѣкъ падаетъ «на дно» жизни, какъ жертва своего порока. *)

*) Вотъ она, читатель, жизнь-то. Въ теоріи батюшка только тѣмъ и занятъ былъ, что поучалъ читателей своими „проповѣдями", а въ жизни—мнѣ пришлось разжевывать ему такія простыя вещи...

С. чувствовалъ съ кѣмъ говоритъ... и брезгливо, не предлагая В. даже сѣсть, сквозь зубы цѣдилъ:

— Вещь могла бы пойти, если бы въ ней ни нѣкоторые недостатки.

По игрѣ восточныхъ глазъ В. (типъ его былъ очень близокъ къ типу грека) было видно, что этотъ человѣкъ глубоко знаетъ жизнь, сильно презираетъ людей, но... и умѣетъ обводить ихъ.

На замѣчаніе С. онъ почтительно и униженно наклонилъ голову и, льстиво и покорно просилъ:

— Не будете-ли вы такъ добры, указать мнѣ на эти недостатки? Я постарался бы ихъ выправить. Я очень, очень глубоко былъ бы благодаренъ вамъ за это.

С. съ минуту отмалчивался. Очевидно было, что ему непріятно имѣть дѣло съ В., но и В. не лыкомъ шитъ. Онъ не поднималъ своей униженно наклоненной головы, глаза его подобострастно и покорно ловили взглядъ С.—и С. не выдержалъ. Онъ въ послѣдній разъ взглянулъ на фигуру В. — на жалкую-жалкую фигуру — и опять сквозь зубы процѣдилъ:

*) Впослѣдствіи я узналъ, что В. по своей слабости остоянный абориrенъ Хитрова рынка.

— Хорошо. Зайдите денька черезъ три. Я вамъ сдѣлаю указанія — и оттого, какъ вы ихъ выполните, будетъ зависѣть напечатаніе этой вещи. Пока, значитъ, до свиданія.

Не подавая руки, полукивкомъ головы давая понять В., что разговоръ конченъ, С. повернулся ко мнѣ:

— Чѣмъ могу служить?

Я, наблюдая за В., медлилъ отвѣтомъ. В. на слова С. почтительно изогнулся и, сохраняя все тотъ же униженный наклонъ головы, двинулся тихо и осторожно къ двери.

И пока онъ былъ въ комнатѣ—фигура его внушала одно чувство: чувство той жалости, когда видишь, какъ завзятый алкоголикъ молча и кротко страдаетъ отъ невозможности опохмѣлиться. Но, когда онъ отворилъ дверь и переступалъ порогъ комнаты на его лицѣ заиграла хитрая-хитрая улыбка восточнаго человѣка, фигура вмигъ преобразилась какимъ то однимъ, невидимымъ, внутреннимъ движеніемъ — раскрылся хитрый, осторожный, озлобленный звѣрь, котораго не всегда можно безнаказанно ударить: если у него имѣется возможность отплатить — больно укуситъ!

В. исчезъ.

Тономъ, что-вотъ-де молъ по человѣколюбію приходится принимать и такихъ господъ, С. бросилъ:

— У человѣка есть небольшое дарованьице, а вотъ гибнетъ. Кажется, безнадежный алкоголикъ. И живетъ чуть-ли не на Хитровкѣ.

Я изъ вѣжливости отговорился парой словъ: «Да, печально»,— и политично началъ подходить къ сути своего посѣщенія.

— Я, видите ли, пришелъ поговорить по поводу статьи о Бѣлянинѣ, какъ авторъ этой статьи. Батюшка мнѣ передавалъ, что будто бы форма статьи не та, въ какой бы это слѣдовало написать и, что будто бы вы имѣете намѣреніе передѣлать ее въ надлежащую форму.

С. внимательно на меня взглянулъ; я поспѣшилъ съ невинно-глуповатымъ видомъ добавить:

Я—начинающій. Пишу, что называется «безъ году недѣлю», и такихъ тонкостей, какъ форма, къ сожалѣнію, еще не постигъ.

На ловца и звѣрь бѣжитъ: г. литераторъ разстегнулся! Почувствовавъ мелкую сошку, онъ спокойно и равнодушно какъ будто бы рѣчь шла о его собственной вещи, заявилъ:

— Вѣрно. Я нахожу, что форма статьи неудовлетворительна. И хочу ее использовать въ иной формѣ.

— А скоро это думаете сдѣлать?

— Не могу сказать. Вообще, надъ этой вещью мнѣ придется основательно поработать. Вдуматься. Изучить. Я даже рѣшилъ съѣздить къ этому Бѣлянину: чтобы хорошенько запечатлѣть обстановку, въ которой ему пришлось работать надъ изобрѣтеніемъ.

Я удивился, ибо это для меня было совершено ново:

— А это зачѣмъ? Похоже на то, какъ будто бы вы цѣлую повѣсть собираетесь писать.

Г. С. покровительственно улыбнулся:

— Да, да, молодой человѣкъ, вы угадали: повѣсть. Упустить такой сюжетъ! А вы думали, какъ большие писатели работаютъ? Вотъ учитесь. Эту вещь я думаю использовать листовъ на 8-ми 10 печатныхъ. У васъ сколько писемъ этого Бѣлянина?

— Десятка два.

— Ага. Доставьте-ка ихъ мнѣ. Я вычерпаю изъ нихъ побольше, чѣмъ вы. Поняли?

Я понялъ и... перемѣнилъ тонъ:

— Какъ авторъ статьи, я, г. С. на это не согласенъ. Я тоже думалъ писать о Бѣлянинѣ повѣсть, но нашелъ, что повѣсть Бѣлянину не нужна, а нужна статья съ призывомъ капиталистовъ на эксплоатацію его изобрѣтенія.

«Большой писатель» былъ удивленъ:

— Вы тоже думали писать повѣсть?

— Да, думалъ. Какъ написалъ-бы—худо-ли на чей нибудь взглядъ, *не въ той формѣ*,—но писать думалъ.

— Почему же не написали?

— Потому что не хотѣлъ зарабатывать деньги на несчастьѣ другого. А если заработать—такъ не раньше, чѣмъ сдѣлана попытка помочь этому человѣку.

— Да вѣдь, хотѣли же вы заработать на статьѣ—почему же не заработать въ нѣсколько разъ больше на повѣсти?

И смотрѣлъ на меня злорадно-торжествующимъ взглядомъ: поймалъ, молъ!

Мнѣ стало этого человѣка и жаль и противно: и это литераторъ?!

— Отъ гонорара за статью я отказался: просилъ его отослать въ пользу Бѣлянина. Это можетъ вамъ подтвердить батюшка. А повѣсть... развѣ вы думаете, что беллетристическое произведеніе поможетъ Бѣлянину? По крайней мѣрѣ, я такой необыкновенной формы повѣсти въ литературѣ еще не встрѣчалъ.

По всему было видно, что такого пассажа «большой писатель» не ожидалъ. До этого онъ ходилъ по комнатѣ, какъ должно быть не ходилъ ни одинъ литературный генералъ передъ мелкой начинающей сошкой: спокоенъ, самоувѣренъ, руки назадъ.

А тутъ... круто остановился:

— Такъ выходитъ, что вы противъ передѣлки?

Бѣдняга, онъ только теперь это понялъ!

— Да, противъ.

— Гм... Ну, что-жъ...

И долгая пауза. Я ждалъ, что же еще онъ скажетъ—и въ упоръ разсматривалъ его. Впечатлѣніе отъ внѣшности этого господина получалось не въ его пользу.

Низкій лобъ. Жесткіе, торчащіе черные волосы. Общее выраженіе лица и глазъ—маленькихъ, рѣдко смотрящихъ прямо на человѣка,—хитро и холодно, и жадно все для себя высматривающій проходимецъ. И проходимецъ не крупнаго колибра. Хитрованецъ В. проходимецъ много крупнѣе умомъ и человѣкъ въ немъ болѣе чувствовался: если гнется—такъ ужъ очень жизнь гнетъ, и гнется со злобой—значитъ собственное достоинство еще не умерло, а оно—гарантія того,—что другихъ, страдающихъ, пасынковъ жизни не будетъ гнуть. А тутъ... чувствовалось только гаденькое я: гдѣ нужно—согнется, но на другихъ за себя выместитъ. Холодно, спокойно. Не задумываясь много.

Я ждалъ, что же еще онъ скажетъ—и не дождался.

И попросилъ:

— Потрудитесь статью и документы при ней мнѣ вернуть.

— У меня статьи и документовъ нѣтъ. Они у соредактора.

— Позвольте: мнѣ сказалъ батюшка, что у васъ.

— Невѣрно сказалъ. У соредактора они.

— Хорошо. Пойду къ нему.

Я простился: наклономъ головы.

«Большой писатель»... онъ жилъ въ меблированныхъ комнатахъ и пошелъ меня провожать по длинному корридору до лѣстницы!

Значитъ, смутился! Значитъ, только теперь, какъ слѣдуетъ понялъ, что хамство его намѣреній оцѣнено вполнѣ. О, ты, трупная зараза человѣчества, если ты не неуязвима—значитъ съ тобой еще можно бороться и надо бороться!

И такъ хотѣлось сказать:

— А непріятно, когда зарвешься, а тутъ вдругъ, неожиданно говорятъ: сударь, осадите назадъ?! Сознайтесь: въ какую сумму я у васъ кушъ отнялъ? а?

И невинно, съ глуповатымъ видомъ засмѣяться!

Но мало-ли чего иногда намъ хочется сказать—да бѣда въ томъ: обманываемъ себя, что это, молъ, невѣжливо, не слѣдуетъ границъ приличія переступать, а въ сущности—мужества не хватаетъ.

Потомъ я сообразилъ, что моментъ удобенъ и еще для кое чего. И предложилъ:

— Съ моей статьей, значитъ, не выгорѣло. Не напишите-ли вы о Бѣлянинѣ статью? Надо попытаться помочь этому человѣку или нѣтъ? Какъ вы думаете?

«Большой писатель» кисло согласился:

— Да, конечно. Я напишу.

Я поблагодарилъ его и взглянулъ ему въ лицо: въ этомъ человѣкѣ я нажилъ себѣ врага!

И противно было за себя, когда мы дошли до лѣстницы, за то, что не хватило мужества не принять лицемѣрно-протянутой этимъ новымъ врагомъ руки.

Отъ «большого писателя» я направился за своей статьей къ соредактору, но онъ мнѣ съ усмѣшкой заявилъ:

— С. сказалъ? Что онъ выдумываетъ? Она у него. Мнѣ она ни къ чему: онъ ее хочетъ использовать.

«Использовать?». И этотъ говоритъ такимъ тономъ, точно такія вещи въ порядкѣ вещей!

Я не могъ побороть отвращенія идти вторично «къ большому писателю» сейчасъ же и рѣшилъ отложить до другого раза.

Черезъ два дня въ «Правдѣ Господней» появилась статья г. С. въ 150 строкъ.

Гнусная статья! Низость за свою неудачу перенесла непріязнь на ни въ чемъ неповиннаго изобрѣтателя Бѣлянина.

130 строкъ въ статьѣ—это экскурсія въ далекое прошлое.

Ничего не забылъ г. С. Вспомнилъ «тульскую стальную блоху», вспомнилъ, что первый паровозъ былъ изобрѣтенъ русскимъ человѣкомъ и проданъ въ Англію; поплакалъ еще о нѣсколькихъ талантливыхъ горемыкахъ, которыхъ видѣлъ на своемъ вѣку... онъ ничего не забылъ: писалъ о тѣхъ, кто давно умеръ, или кому это не нужно, но человѣкъ живой, страдающій былъ обойденъ.

О немъ всего только 20 строкъ—и 20 строкъ такихъ, изъ которыхъ одинъ выводъ: есть де молъ, крестьянинъ Бѣлянинъ, который изобрѣлъ машину.

Немного удивленія: по профессіи портной—и изобрѣтеніе машины?

Немного крокодиловыхъ слезъ: и такъ, молъ, у насъ на Руси всегда гибнутъ таланты самородки.

И больше ничего.

Ну, «не большой-ли писатель?!» *).

Съ глубокой болью я вчитывался въ «Правду Господнюю». День ото дня она прогрессировала къ такому листку, который у читателя хотя бы съ чуть-чуть развитымъ литературнымъ вкусомъ, по большей мѣрѣ вызывалъ — отвращеніе, по меньшей—жалость.

На языкѣ батюшки это называлось: «давать народу здоровую духовную пищу.» И показателемъ того, что его убогій листокъ даетъ—*истинно здоровую* духовную пищу было по его мнѣнію то, что листокъ прежде шелъ туго, а потомъ началъ подниматься.

Листокъ обслуживалъ самые темные элемен-

*) Этотъ «большой писатель» здравствуетъ и по нынѣ. И даже... человѣкъ, покушавшійся обокрасть трудъ начинающаго—этотъ человѣкъ... пишетъ памфлеты на писателей! Ничего не подѣлаешь. «Большой писатель» *изъ неизвѣстныхъ писателей* не вылѣзаетъ--ну, и сердиться *на большихъ*...

ты столицы—дворниковъ, кухарокъ, наиболѣе косныхъ рабочихъ изъ фабричныхъ, (заводскіе рабочіе косились на листокъ съ ироніей) онъ началъ проникать въ деревню, проникать не потому, что давалъ деревнѣ что либо цѣнное, а потому, что административная опека деревни подъ давленіемъ времени поослабилась—а батюшка, или совсѣмъ не зналъ, или забылъ, что читатель такого сорта настолько компетентенъ «въ духовной пищѣ», что рядомъ съ его листкомъ жадно поглощаетъ и лубочную порнографію, и Пинкертоновъ, и Шерлоковъ Холмсовъ.

Батюшка не зналъ этого или забылъ: онъ рѣшилъ, что его листокъ взялъ «вѣрный тонъ», попадаетъ «въ самый жизненный нервъ»—и успокоился.

Дѣло поставлено, люди подобраны—значитъ отъ мелочей можно и отойдти. И батюшка отошелъ.

«Людей подобранныхъ» я постарался узнать всѣхъ.

Во главѣ листка стояли соредакторъ, и г. С. Отъ нихъ зависило кому давать ходъ и кому нѣтъ; кто имъ по вкусу—тому дадутъ заработать, кто нѣтъ—затрутъ.

Особенный ходъ давался двумъ новоиспеченнымъ писателямъ изъ народа—одинъ бывшій столяръ, другой—нѣкій Т.; эти новооткрытые таланты наводняли листокъ—столяръ разсказами на

тему о вредѣ пьянства,*) Т.—и на эту тему и на прочія.

Я далекъ отъ мысли считать себя авторитетомъ въ оцѣнкѣ данныхъ писателя, но этихъ талантовъ я могъ оцѣнить вполнѣ: убогій языкъ, убогія мысли. И думалъ: въ чемъ причина ихъ успѣха?

Особенно раздражалъ столяръ: онъ поучалъ —нагло, назойливо и... глупо.

Эта тенденція навела меня на мысль, что этотъ столяръ долженъ быть изъ особенно неблагонадежныхъ.

Я сталъ искать случая раскусить эту штуку поближе и этотъ случай представился.

Иду къ соредактору съ тѣмъ, чтобы онъ мнѣ вернулъ разсказъ «Въ заводѣ»—и натыкаюсь у него на Т... Творецъ повѣстей изъ народнаго быта, выразитель народныхъ нуждъ—оказался безнадежнымъ алкоголикомъ. Восточный человѣкъ В**) тоже алкоголикъ—но не изъ тѣхъ, надъ которыми всегда можно безнаказанно издѣваться; а этотъ—водка-ли парализовала въ немъ человѣка, или такимъ уже уродился,—плюнь ему въ лицо—утреться и, больше ничего.

Про такихъ, кажется, Щедринъ говорилъ:

*) А самъ, какъ я узналъ позже, былъ на этотъ счетъ «мужчина законченный».

**) Онъ былъ наиболѣе всѣхъ талантливымъ сотрудникомъ—плюсъ: восточная смѣтка,—но большого хода въ листкѣ онъ не имѣлъ. Печатался изрѣдка.

«Сверни ему скулы—пойдетъ въ баню, намылитъ, выправитъ, и вновь явится, какъ ни въ чемъ не бывало.»

Соредакторъ его за его какой-то разсказъ слегка пожурилъ:

Развѣ такъ пишутъ? Вы понимаете, какую-тутъ чушь занесли? а? Ну, и писака!

«Писака» стоялъ съ покорнымъ видомъ, принимая ругань, какъ должное — не спрашивая, въ чемъ «чушь?»—и, съ сознаніемъ, что «брань на вороту не виснетъ».

Потомъ бормоталъ:

— Конешно. Куда-жъ... Жена, дѣти... мѣшаютъ. Безъ ошибокъ никакъ не обойдешься. Премного вами благодаренъ.

Соредакторъ его слегка пожурилъ, а въ общемъ отпустилъ съ миромъ.

— Ну, ладно. Разсказъ пущу на дняхъ. Но только вотъ что:—погрозилъ пальцемъ:—не очень зашибай!

«Писака» ухмыльнулся:

— Помилте! На что? Жена дѣти... Много-то не раскатишся!

Они разстались. Взаимно довольные другъ-другомъ.

Соредакторъ началъ искать мой разсказъ и, не находя предложилъ мнѣ побывать за нимъ черезъ недѣльку. Я сказалъ, что вещь мнѣ нужна очень *теперь* и попросилъ поискать повнимательнѣе.

Съ раздраженіемъ онъ рылся въ рукописяхъ и, не удержался мнѣ заявить:

— Очень нужно теперь? Напрасно вы думаете, что *нуженъ*. Вещь плохая. Ее нигдѣ не возьмутъ.

Я промолчалъ.

И вдругъ тотъ, кого я хотѣлъ видѣть—столяръ. Онъ вошелъ съ видомъ человѣка чувствующаго здѣсь подъ собой прочную почву; взгляды и рукопожатія, которыми они обмѣнялись—все это допускало болѣе интимную связь, чѣмъ отношенія только по редакціи.

— Ну, какъ тогда?—встрѣтилъ его соредакторъ.

— Тогда...—и столяръ, взглянулъ на меня и замялся.

Столяръ имѣлъ русскую фамилію—-но едва-ли въ немъ текла исключительно русская кровь: внѣшность его сильно отдавала цыганомъ.

И впечатлѣнія, кромѣ внѣшности, тѣже: хитрость, наглость, вороватость этого племени сквозили черезъ каждую его черту, черезъ каждое движеніе.

Столяръ замялся, соредакторъ понялъ, что «подомашнему совсѣмъ распускаться нельзя», когда тутъ свидѣтель и, враждебно бросилъ:

— Не найду разсказа вашего. Да и не время мнѣ сейчасъ искать. Можете не безпокоиться: я вамъ его пришлю.

Я ушелъ.

И понялъ окончательно, что въ «Правдѣ Господней» мнѣ не работать: не ко двору!

Безконтрольное владычество надъ редакціей отдано такимъ лицамъ, какъ соредакторъ и С.— отъ такихъ людей добра не жди.

Остается батюшка. Иниціаторъ газеты. Хозяинъ ея... Но... онъ забылъ весь міръ, всю—не только «Правду Господню»,—но и обыкновенную, нашу маленькую—человѣческую.

Онъ пишетъ большую повѣсть: «Святая кровь»,—о томъ, что было во времена могущества Рима!

А то, что совершается на глазахъ—онъ не видитъ; когда напоминаютъ—онъ обѣщаетъ уладить, но на дѣлѣ этого нѣтъ и нѣтъ.

Онъ глухъ и слѣпъ!

Не думаю, чтобы долго протянула со своимъ сотрудничествомъ въ «Правды Господней» и жена.

Гнусно на душѣ.

Мои опасенія сбылись.

Жену изъ «Правды Господней» выжили.

Она пошла сдавать батюшкѣ работу, но батюшки не было дома, а былъ соредакторъ, который изъявилъ желаніе:

— Мнѣ нужно съ вами переговорить.

Эти переговоры жена передала такъ:

— Приводитъ меня въ свою комнату и поднимаетъ вопросъ о тѣхъ вещахъ, которые уже приняты Г. С.... (батюшкой) Вижу: грубо и глупо придирается. На душѣ у меня кипитъ, но сдерживаюсь. Не забываю, что если порвешь, такъ поплатимся голодовками. Мягко доказываю ему неосновательность его придирокъ—онъ становится втупикъ, отвратительно крутитъ усы и мычитъ съ видомъ своего превосходства: «Да, это такъ... Конечно... Но...» И выдумываетъ вновь какую нибудь нелѣпую, дикую придирку. И что же... Я, наконецъ, взбѣсилась: «Вы нравственно—безграмотный человѣкъ! И не вамъ быть на такомъ мѣстѣ. И наконецъ: какое вы имѣете право копаться въ томъ, что уже принято Г. С...?» Ухмыльнулся пошлякъ, закрутилъ усы и грозитъ: «Если копаюсь,—значитъ имѣю на это право. А вы... такимъ тономъ у меня не принято говорить: это вы запомните». Я ухожу и говорю: «Это еще посмотримъ». Выхожу на улицу и встрѣчаю батюшку. Передаю ему все и прошу: «Избавьте меня отъ г. соредактора. Я не могу съ нимъ имѣть дѣла.»

Жена помолчала.

— Родной, и что же ты думаешь? Г. С... поморщился и сталъ мнѣ внушать, что соредакторъ на этотъ разъ дѣйствительно вмѣшался не въ свою область, но вмѣстѣ съ тѣмъ далъ мнѣ и совѣтъ: чтобы я была помягче. А потомъ и по твоему адресу: «Удивительная, говоритъ, вы со своимъ мужемъ пара. Онъ съ моимъ со-

редакторомъ не ладитъ, вы тоже. Но такъ нельзя. Разъ я держу человѣка на такомъ мѣстѣ—значитъ нахожу его достойнымъ. Объ этомъ вы и вашъ мужъ—подумайте. И будьте помягче».

Вновь жена помолчала.

— Я ушла. Я ничего ему на это не сказала. И знаешь: я больше туда не пойду. Буду искать грошевыхъ уроковъ, какой-нибудь другой работы, а туда не пойду. Я чувствую себя, что я уже мать... Ты понимаешь это?

Я понялъ, но не такъ, какъ слѣдуетъ. Я испугался будущаго ребенка, того, что лишенія и голодъ грозятъ маленькой крошкѣ, и заговорилъ о безуміи порывать съ редакціей «Правды Господней». Изъявляя согласіе во имя ребенка смириться самъ и передъ батюшкой и передъ соредакторомъ, я убѣждалъ на это и жену. Но она послушала-послушала и рѣзко отмахнулась рукой:

— И тебѣ не совѣтую смиряться, и сама на это не пойду. Ты понимаешь, что я *чувствую,* чувствуя себя матерью? Думаю, что лучше голодать, чѣмъ насиловать себя въ это время чортъ знаетъ передъ кѣмъ. Не хочу, чтобы мой первый ребенокъ еще подъ сердцемъ матери всасывалъ въ себя то, что мнѣ противно! Понимаешь ты это?

Я понялъ. И пожалъ женѣ руку.

Такъ печально кончилось наше сотрудничество въ «Правдѣ Господней».

Черезъ недѣлю—Пасха. А денегъ у насъ—увы и ахъ! Мнѣ получать съ «Правды Господней», нечего, но жена считаетъ заработанныхъ 120 руб.

Мы идемъ за деньгами вмѣстѣ. Мнѣ хочется—можетъ быть, въ послѣдній разъ,—взглянуть на батюшку.

Дома его не застаемъ: онъ въ типографіи. Идемъ туда. Принялъ насъ батюшка холодно; въ особенности косо взглянулъ на жену. Такъ было очевидно, что «винтъ» «за нравственно-безграмотнаго человѣка» постарался отплатить насколько сумѣлъ.

Жена участія въ разговорѣ не принимала.

Вотъ моя послѣдняя встрѣча съ батюшкой.

— Г. С... На носу Пасха. Намъ нужны деньги. Будьте добры, устроить выдачу заработанныхъ женою денегъ.

— Всѣхъ?

— Хотя бы не всѣхъ.

— А сколько всего ей причитается?

— Она насчитываетъ 120 рублей.

Онъ подумалъ.

— Да, настолько работы наберется. Но дать я сейчасъ не могу. Вѣдь, изъ этихъ работъ ничего еще не напечатано. Въ печать пойдутъ только послѣ Пасхи.

— Я сомнѣваюсь въ этомъ.

— Почему?—и батюшка недоумѣвающе поднялъ брови.

— Вашъ соредакторъ забракуетъ вещи жены такъ же, какъ забраковалъ мой разсказъ «Въ заводѣ» или, напримѣръ, мое «Чудо?» *) Когда вы приняли его, вы обѣщали напечатать черезъ нѣсколько дней—съ тѣхъ поръ прошло три мѣсяца, а онъ не появился.

Батюшка вспыхнулъ:

— То, что взято мной, то будетъ напечатано. Рано, поздно—это зависитъ отъ матеріала. А матеріалу у насъ много.

Въ это объясненіе я не вѣрилъ, ибо слишкомъ хорошо уже зналъ, что дѣло не въ матеріалѣ, а въ томъ, кто его пропускаетъ.

Не вѣрилъ, но чтобы не сердить батюшку, сказалъ:

— Вѣрю вамъ. Тогда дайте намъ хоть рублей 50.

— Не могу и этого. Я уже авансами роздалъ болѣе 1000 рублей, а у меня есть опасенія, какъ бы газету не прихлопнули. Уцѣлѣетъ она послѣ Пасхи—тогда съ удовольствіемъ. А теперь не могу.

Такого категорическаго отказа я не ожидалъ, и въ мотивы отказа не могъ вѣрить. Мнѣ отъ

*) Этотъ разсказъ въ моихъ глазахъ совершенно ничтоженъ, но позднѣе я его напечаталъ въ одномъ журналѣ затѣмъ... чтобы въ будущемъ онъ мнѣ послужилъ, какъ документомъ, или какъ горькой памятью... И напечатанъ въ органѣ, гдѣ работаютъ не такія силы, какъ въ «Правдѣ Господней».

батюшки было извѣстно, что на газету запасено нѣсколько разрѣшеній *).

— Странно, такой большой праздникъ—и вы оставляете насъ безъ копѣйки.

Батюшка пожалъ плечами.

— Сожалѣю. Но долженъ вамъ сказать, что въ этомъ вы виноваты. (Косой взглядъ при этомъ и на жену). Вы не хотите работать. У меня есть нѣкто... бывшій столяръ. Былъ безъ работы, голодалъ, когда пришелъ ко мнѣ. Я хотѣлъ ему дать заработокъ хоть на кусокъ хлѣба... Ну, рублей 25—30 въ мѣсяцъ. Какими нибудь замѣтками въ хронику изъ жизни рабочихъ. А онъ оказался человѣкомъ очень способнымъ. Пошелъ—и пошелъ! Началъ давать отчеты изъ камеръ мировыхъ судей. Писать разсказы. И знаете, сколько онъ у меня теперь зарабатываетъ: до 300 рублей въ мѣсяцъ! Вы не ладите съ моимъ соредакторомъ; вы столкнулись только однажды съ сотрудникомъ С.,—а онъ уже старый литераторъ,—и дали ему поводъ съ одной встрѣчи говорить о васъ отрицательно. А столяръ... да и всѣ прочіе, которые у меня работаютъ—они и соредакторомъ и С... довольны и, соредакторъ и С.—ими довольны. Такъ то! Совѣтую вамъ надъ этимъ подумать.

И опять взглядъ на жену: пусть, молъ, подумаетъ и она.

*) «Правда Господня» держалась послѣ этого еще съ полгода и перемѣнила нѣсколько названій.

Я хотѣлъ сказать, что «мы подумаемъ», но пока пусть батюшка смѣнитъ гнѣвъ на милость и не оставляетъ насъ на Пасху щелкать зубами, но противна была ложь: послѣ этого я счелъ лишнимъ говорить съ батюшкой. Такъ мы и ушли отъ него съ женой ни съ чѣмъ. Но, придя домой, я написалъ батюшкѣ письмо. (Жалѣю, что не оставилъ копіи). Я писалъ ему: почему я и жена оказались *не способными* людьми, я говорилъ, что нельзя довѣрять хозяйничать въ редакціи людямъ съ лошадинымъ чутьемъ, (соредакторъ) людямъ, покушающимся на трудъ начинающихъ (г. С...). Я говорилъ, что батюшка первый пастырь, который встрѣтился на моемъ пути и, что не моя вина, если этотъ пастырь не задалъ себѣ труда вглядѣться «въ душу заблудшей овцы». *Я напомнилъ ему весь Петербургскій періодъ*. Я высказалъ батюшкѣ все, что слѣдовало высказать. А въ заключеніе заявилъ, что ни я, ни жена подъ условіями такого подчиненія, какого хочетъ г. соредакторъ отъ сотрудниковъ и которое санкціонируетъ самъ батюшка—подъ такими условіями мы работать не можемъ и не будемъ, а посему просимъ, чтобы редакція «Правды Господней» уплатила за работы жены въ суммѣ 120 руб. Въ противномъ случаѣ, я пообѣщалъ потребовать эти деньги судомъ.

Что то фатальное въ батюшкѣ.

Въ бытность въ Петербургѣ онъ порадовалъ меня къ Пасхѣ «краснымъ яичкомъ»—бросилъ на произволъ судьбы; здѣсь—роль «краснаго яичка» его письмо.

Это отвѣтъ на мое. Вотъ оно.

«Милостивый Государь!

Если вы помните, первое ваше посѣщеніе было таково. Больной, со скорченными руками и почти безъ ногъ, Вы пришли ко мнѣ съ рукописью. По разсмотрѣнію, она была никуда не годна. Но вамъ, видимо, нужна была помощь, и вамъ дано было 25 руб. Вы приходили потомъ снова и снова, и приносили новыя какія то писанія, все бездарно и нелѣпо, и получали по 15 руб. и 25 руб. И такъ далѣе. Давалось вамъ, какъ несчастному больному, но не какъ писателю въ гонораръ. Чтобы оправдать ваши получки денегъ свыше 200 руб. въ общемъ, я предложилъ вамъ:

— Негодна ваша беллетристика. Напишите лучше безъ хитрости все, что вы пережили. Можетъ быть, можно будетъ обработать.

Вы принесли новую какую-то билиберду. И это было брошено за негодностью. Затѣмъ вы просили уже 75 руб.,

а потомъ что-то 200... Это было *слишкомъ.* Вы получили отказъ.

Въ январѣ вы снова появились. И опять несли бездарныя, негодныя вещи. Съ вами церемонились, не говорили прямо, но печатать вѣдь не печатали и все возвращали, но денегъ Вы и жена перебрали 80 руб. Давалось опять въ виду вашей болѣзни. Но вы, очевидно, ослѣплены своею геніальностью, равно и Ваша жена. Ея былъ помѣщенъ только отчетъ коротенькій о лекціи. За это она перебрала что-то около 30—40 руб., *вашего же никогда нигдѣ,* ни прямо, ни въ переработкѣ не было напечатано *ни строчки.* Все бездарно. Поймите, Вамъ давалось какъ больному. Вамъ не говорилось, да и теперь не сказали бы, но Ваше письмо... Это — нѣчто особое. И еще угроза! Это что же — шантажъ? Ну, и молодчикъ Вы. Повторяю, все Ваше было никуда негодно и ни строки, ни слова не пущено въ печать. Чего вамъ надо? Жаль, что не понялъ васъ раньше».

Свящ. Г...

Даже *подъ такимъ* письмомъ не устыдился упомянуть о своемъ санѣ!

Вотъ и Пасхальные дни.

Мы съ женою ихъ проводимъ впроголодь. Грядущій день нашъ страшенъ и теменъ, какъ никогда, но жена (вѣроятно, только крѣпится) внѣшне бодра, оживлена, и подбодряетъ меня.

Вотъ уже третій день по утрамъ, когда мы встаемъ, она смѣющимся взглядомъ засматриваетъ мнѣ въ глаза и шаловливо грозитъ пальцемъ:

— Родной, не смѣть унывать! Знаешь: духъ потерять—все потерять. Хлѣбъ есть—и ладно; а головы не повѣсимъ—и калачъ добудемъ.

Полуголодные дни меня не тяготятъ: я слишкомъ сытъ отъ письма батюшки!

Жена по цѣлымъ днямъ бѣгаетъ по знакомымъ курсисткамъ: подыскиваетъ послѣ праздника себѣ какой нибудь работы.

Я этимъ доволенъ: при ней я боюсь такъ много отдаваться своимъ черннымъ думамъ, и даже писать эти записки.

А груда этихъ несчастныхъ, дикихъ листовъ ростетъ и ростетъ. Я ненавижу эту груду самъ, но я отравленъ ею, прикованъ къ ней. Я боюсь эту груду разворачивать; да и смысла въ этомъ нѣтъ: все такъ хорошо помню. И вмѣстѣ съ тѣмъ, когда она выростала все больше и больше, а съ этимъ росла и моя боль--рядомъ съ болью было какое-то странное чувство.

Сегодня я это чувство опредѣлилъ.

Я, вѣроятнѣе всего, издохну гдѣ-нибудь подъ

заборомъ; пусть такъ, — но я издохну съ этой грудой дикихъ, злосчастныхъ листовъ.

Вѣдь, къ кому только мы истинно добры, милосердны, справедливы—это только къ мертвымъ.

Тогда напечатаютъ, прочтутъ, посочувствуютъ, но... не поймутъ и не почувствуютъ, какъ слѣдуетъ, этого послѣдняго плевка!

Пишу и буду писать до конца.

Пишу затѣмъ, ибо сказано: «Если же соль земли потеряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее соленою? Она уже ни къ чему негодна, какъ развѣ выбросить ее вонъ на попраніе людямъ».

Пишу въ формѣ *личнаго обращенія*, ибо я, можетъ быть, издохну подъ заборомъ, а батюшка прочтетъ.

«Почтенный пастырь! Въ жизни, въ обыкновенной жизни принято уважать тѣхъ людей, которые честно трудятся для своего благополучія и не обворовываютъ другихъ.

Никому не помогаютъ, но никого и не обворовываютъ. И это слава Богу. Большаго спросить нельзя. Хорошо, что другихъ не давятъ.

Но вы человѣкъ—иной жизни. Вы мните себя, что «вы—свѣтъ міра», а посему: «Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы»!

Обычная мѣрка людей въ нашемъ дѣлѣ примѣнима быть не можетъ.

И если знамя вашей газеты—не обманъ, не пустыя слова безъ всякаго содержанія, надъ которымъ въ подобномъ случаѣ вы втайнѣ души

могли бы только глумиться — тогда... встаньте почтенный пастырь!

Вы во всемъ обвинили меня, я во всемъ обвиняю васъ.

Кто изъ насъ правъ—встаньте, почтенный пастырь, ибо судъ надъ нами—судъ Правды Господней.

Если бы я былъ убѣжденъ, что вы обладаете такою мѣрою совѣсти, которая иногда на нѣсколькихъ словахъ порицанія способна проснуться и раскрыть глаза на себя, я письмо бы ваше охарактеризовалъ нѣсколькими словами: «Это письмо—письмо зазнавшагося, торжествующаго хама; письмо—нравственно не воспитаннаго лица!»

Но я убѣжденъ въ обратномъ—вы изъ числа людей: всякій, кто не отъ истины, тотъ не вмѣщаетъ истины.

Сколько разъ я хотѣлъ натолкнуть васъ на истину,—припомните?—вы обходили истину.

Попытаюсь въ послѣдній разъ разжевать наши съ вами отношенія, положить вамъ въ ротъ—можетъ быть, на этотъ разъ вы проглотите ихъ хоть съ маленькой пользою для себя.

Вы поклонникъ и восхвалитель Толстого; но поклоняться и восхвалять—не значитъ еще понимать: пристегнуть себя къ великому—иногда значитъ только возвысить себя за счетъ другого.

Толстымъ сказана огромная истина: «Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на общественной лѣст-

ницѣ, чѣмъ съ большими людьми онъ связанъ, тѣмъ больше власти онъ имѣетъ на другихъ людей, тѣмъ *очевиднѣе предопредѣленность и неизбѣжность каждаго его поступка* *).

И, если бы эту истину вы чувствовали даже чуть-чуть—мнѣ не пришлось бы вамъ писать взбѣсившаго васъ письма, а мнѣ не пришлось бы получить отъ васъ вашего шедевра.

Разберу этотъ шедевръ по пунктамъ.

1) Милостивый Государь!

«Если вы помните, первое Ваше посѣщеніе было таково. Больной, со скорченными руками и почти безъ ногъ, Вы пришли ко мнѣ съ рукописью. По разсмотрѣнію она была никуда негодна. Но вамъ, видимо, нужна была помощь и вамъ дано было 25 рублей».

Лишнія слова! Почтенный пастырь, вѣдь, отъ скорченныхъ рукъ и отсутствія здоровыхъ ногъ страдалъ я и мнѣ ли объ этомъ забыть? Я не забылъ. Но, зачѣмъ вы забыли, что такой калѣка поставилъ вамъ условіемъ: «Милостыни я не хочу; ею жить тяжело, да и жизни *безъ цѣли* не принимаю. Но если найдете у меня дарованіе и захотите поддержать—*поддержите меня до конца*».

Видите: вы забыли—и очень существенное!—а не я. Но дальше.

---

*) Курсивъ мой.

2) «Вы приходили потомъ снова и снова, и приносили новыя какія-то писанія, все бездарно и нелѣпо, и получали по 15 руб. и 25 руб. и т. далѣе.»

Мило! Но, зачѣмъ вы *какія то* писанія бездарныя и нелѣпыя пытались устраивать *не куда нибудь*, не въ маленькое изданіе, а въ «Русское Богатство»? Какъ можно рѣшаться *завѣдомо* бездарную вещь нести въ такой журналъ?

3) «Давалось вамъ, какъ несчастному больному, но не какъ писателю въ гонораръ».

Почтенный пастырь. А я, вѣдь, васъ именно объ этомъ и просилъ, чтобы помощь мнѣ давалась *не только, какъ несчастному больному*. Гдѣ были ваши уши? Не вы посылали меня въ «В. Т.» узнать: почему мой разсказъ не появляется? И если допустить, что тутъ такая тонкая деликатность,—дать человѣку иллюзію, что его вещь гдѣ-то принята, но-чего на самомъ дѣлѣ не было,—то не жестоко ли посылать человѣка «со скорченными руками и почти безъ ногъ» въ очень холодную погоду за 15 верстъ?

Почтенный пастырь, нитки, которыми вы шьете, *очень бѣлы*!

4) «Чтобы оправдать Ваши получки свыше 200 рублей въ общемъ, я и предложилъ Вамъ: «Негодна Ваша беллетри-

стика. Напишите лучше безъ хитрости все, что вы пережили. Можетъ быть, можно будетъ обработать». Вы принесли новую какую то билиберду. И это было брошено за негодностью. Затѣмъ вы просили уже 75 руб., а потомъ что-то 200. Это было *слишкомъ*. Вы получили отказъ».

Странно! Несмотря «на негодность» всего, что приносилось, вы почему то возымѣли надежду *оправдать свои выдачи*?! Да, я далъ вамъ то, что пережилъ. Вы заставили «скорченныя руки» писать—несмотря на то, что все, что приносилось до этого, все это «оказывалось билибердой».

Какія бѣлыя нитки! Не лучше ли было бы прямо сознаться, что наша «даровитая творческая сила» на утилизацію даннаго матеріала оказалась слаба?

Почтенный пастырь! Передъ вами раскрыли огромный міръ и, если вы въ этомъ мірѣ ничего не услышали и ничего не увидѣли—не моя вина, что вы слѣпы и глухи.

Почтенный пастырь. Истинные таланты творятъ и безъ схемъ. Послушаютъ, всмотрятся—и творятъ.

Вамъ понадобилась схема. Вамъ не нужно было *литературной обработки:* на это есть техника почтеннаго пастыря!

И я вамъ далъ схему безъ литературной обработки—*но плоть и кровь* пережитаго! — *Настолько*, что когда вы мнѣ этой «какой то билиберды» не вернули (хотя она у васъ и была *цѣла*, какъ писали)—я почувствовалъ, что вторично этой «билиберды», когда нѣтъ черновика, мнѣ не написать. Слишкомъ горячо я отдалъ эту «билиберду» вамъ: была большая и дорогая боль—я ее вычерпалъ изъ души; былъ огонь для васъ, для себя—остылъ. Что пишется болью и кровью,—не повторяется. На повторенія силъ не хватаетъ.

Я вамъ отдалъ огромный міръ *выстраданный* мною; возможность видѣть и понимать въ этомъ мірѣ всю его красоту и весь его ужасъ—эту возможность я купилъ цѣною десяти мучительныхъ лѣтъ собственной жизни.

Я вамъ отдалъ то, что для другого послужило бы *цѣлымъ сокровищемъ*, отдалъ съ полною мѣрою благодарности за нѣсколько кинутыхъ мнѣ въ видѣ милостыни десятковъ рублей—а вы, простите меня почтенный пастырь, вы глупо порылись въ томъ, чего не понимали, и бросили, и затоптали; вы отняли у литературы огромный міръ, міръ отраженный не холодными и близорукими выводами посторонняго наблюдателя, а міръ отраженный трепетомъ души; съ закваской тѣхъ сухихъ и лицемѣрныхъ книжниковъ, которые не праведно возсѣли на «Моисеевомъ сѣдалищѣ» вы слѣпо прошли мимо міра великой красоты, и великаго ужаса—не поняли,

не почувствовали, не позаботились вернуть матеріала тому, кому онъ принадлежитъ: бросили, затоптали и поглумились! Ваша творческая фантазія способна только на взмахи коротенькой статьи, фельетона, вашъ взглядъ способенъ обозрѣвать жизнь только съ высоты *птичьяго полета*—а вы однажды вообразили, что способны создавать огромныя полотна яркими, углубленными мазками.

И еще, почтенный пастырь, одна маленькая деталь, которая говоритъ однако о многомъ: вы все умаляете, кромѣ... своего рубля.

Не вѣрно, что вы соблаговолили подачекъ мнѣ на сумму, «что-то свыше 200 руб.»; не вѣрно: только 169.

Записывался, почтенный пастырь, каждый вашъ рубль, записывался! Бѣдный писатель «со скорченными руками» страстно желалъ вернуть вамъ ваши «оболы» прежде съ благодарностью; потомъ страстно желать бросить вамъ ваши подачки съ тѣмъ чувствомъ, котораго они заслуживаютъ.

> 5) «Въ январѣ вы снова появились. И опять несли бездарныя, негодныя вещи. Съ вами церемонились, не говорили прямо, но печатать вѣдь не печатали и все возвращали, но денегъ вы и жена перебрали 80 руб. Давалось опять въ виду вашей болѣзни».

Да, я появился въ январѣ вновь. Но почему вы приняли меня холодно съ тѣмъ первымъ разсказомъ, въ которомъ вы усмотрѣли пагубное вліяніе Горькаго и, расцвѣли при второмъ? Если вы жалѣли только, какъ больного, почему не дали денегъ при первомъ разсказѣ и дали при второмъ? Или, какъ можно человѣку, на котораго вы смотрите безнадежно, открывать текущій счетъ *въ конторѣ*, какъ постоянному сотруднику? И наконецъ: *все по болѣзни, да по болѣзни*! Все какъ будто бы изъ *состраданія*, или хоть *изъ жалости*.

Ахъ вы святая душа на костыляхъ!

Почтенный пастырь. Настолько-то вы несомнѣнно дальновидный человѣкъ, чтобы видѣть: какой смыслъ давать больному деньги, когда онъ проживаетъ ихъ больной? Не логичнѣе ли, если у васъ такое доброе сердце, вылечить этого больного: затратить на него деньги и вернуть его къ былому труду? Дать ему трудоспособность и сказать: «На писательство поставьте крестъ. На это у васъ нѣтъ данныхъ. Но я вернулъ вамъ здоровье—область труда для васъ открыта».

Припомните, почтенный пастырь, свою попытку въ Петербургѣ, когда вашъ же знакомый профессоръ сказалъ, что меня вылечить можно, но когда вы узнали, что леченіе будетъ стоить 90 руб. въ мѣсяцъ, вы задумались: «Это дорого. Рублей бы 30».

«Оболы» свои пожалѣли? Ими измѣряете свою доброту?

Наконецъ, вы пообѣщали все-таки «подумать и куда-то меня устроить».

Почему же не шевельнули пальцемъ, чтобы куда-то «устроить»? Вы предпочли только тѣшить обѣщаніями и «искорками дарованія».

А вотъ тотъ, кто «сломалъ себѣ голову на босякахъ» тотъ лечилъ меня, не задумался надъ тѣмъ, что «это дорого». И лечилъ не только, какъ больного, а писалъ мнѣ: «Вамъ нужно лечиться. Писатель долженъ быть здоровымъ человѣкомъ».

Какая горькая истина: одинъ далекъ отъ Евангелія—а иногда близокъ Евангелію дѣломъ; другой твердитъ о Евангеліи неустанно—а дѣла его, заклеймены тѣмъ же Евангеліемъ: «связываютъ бремена тяжелыя и неудобоносимыя и возлагаютъ на плечи людямъ, а сами не хотятъ и перстомъ двинуть ихъ;

всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрылія одеждъ своихъ;

такъ же любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синагогахъ; и привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, и чтобы люди звали ихъ «Учитель! Учитель» *)!

*) Отъ Матѳея, глава 23.

Бѣлыми нитками свою доброту шьете почтенный пастырь!

6) «Но вы, очевидно, ослѣплены своею геніальностью, равно и ваша жена».

Стыдно за писателя съ именемъ за то, что даже и достоинство человѣка онъ возводитъ въ недостатокъ.

Почтенный пастырь. Къ счастью для меня я не лишенъ сознанія видѣть свое превосходство надъ тѣми, кто ниже меня; я не лишенъ достоинства, чтобы плясать подъ дудки низкихъ и ничтожныхъ душонокъ—а это развѣ синонимы «съ ослѣпленіемъ»?

Было время—умалялъ себя, черезчуръ возвышалъ надъ собой недостойныхъ,—было, но прошло.

«Учителя жизни» скоро научили меня понять одну горькую, хотя и необходимую каждому истину, которую не лишнее знать и вамъ, почтенный пастырь.

Вотъ она:

— Кто не знаетъ себѣ настоящей цѣны,—то переоцѣнитъ себя, то не доцѣнитъ,—тому жизнь съ теченіемъ времени покажетъ его правильную оцѣнку.

Разумѣю подъ словомъ «покажетъ» хоть немного чувствующихъ и мыслящихъ по человѣчески.

Какъ ни хитро обходятъ люди жизнь, но есть,

есть въ ней, почтенный пастырь, неумолимое возмездіе: никуда отъ него не уйдешь, всюду оно найдетъ и покараетъ въ той или иной формѣ, но покараетъ за ея попранную правду.

Что же касается «ослѣпленія» жены—почтенный пастырь, есть такое изреченіе: «что дѣлать, люди—всегда люди: и лучшіе изъ нихъ иногда забываются».

Но нельзя же забываться такъ, какъ забываетесь вы, *не иногда*, а *всегда*, не насчетъ *одного*, а насчетъ *многихъ*. Отъ кого не тѣмъ духомъ пахнетъ, который намъ нравится—значитъ такихъ всѣхъ подъ дугу? Надо надъ этимъ духомъ подумать бы—а мы подъ дугу? Это печально безконечно, это цѣлая трагедія, но это такъ: «ослѣпленіе» жены для меня лишнее подтвержденіе того, что и въ проявленіи своихъ добродѣтелей вы празднуете *побѣду Пирра*: человѣкъ съ минимумомъ благородства, гордости, съ чувствомъ собственнаго уваженія къ себѣ послѣ вашихъ добродѣтелей будетъ не съ вами, а противъ васъ! Сѣйте же сѣятель въ еще чистыя души мракъ и холодъ!

> 7) «*Вашего же нигдѣ никогда* не было помѣщено *ни строчки*. Все бездарно. Поймите же, вамъ давалось, какъ больному, вамъ не говорилось, да и теперь не сказали бы, но ваше письмо... Это —нѣчто особое. И еще угроза! Это что же—шантажъ? Ну, и молодчикъ вы. Повторяю, все ваше было никуда не годно и ни строчки, ни слова ни пущено въ печать. Чего вамъ надо? Жаль, что не понялъ васъ раньше».

Таковъ заключительный аккордъ вашего письма, почтенный пастырь!

Горько ваше письмо, но есть въ немъ и то, что заставило меня и улыбнуться: это то, что вы меня подвели подъ категорію шантажистовъ.

Когда слишкомъ «хватаютъ черезъ край»— это всегда достигаетъ противоположной цѣли. Вы, вѣроятно, думали: огорошу же я «молодчика», чтобы впредь не зарывался. А я, представьте себѣ, улыбнулся: какъ иногда улыбаемся надъ шуткой. Улыбнулся и оторвался на минуту отъ своего злосчастнаго, безрадостнаго письма— и въ это время замѣтилъ, что ваше письмо разбилось на семь пунктовъ. Вышло это само собою и дало мнѣ возможность на вашу милую шутку отплатить своей. Я подумалъ:

— Семь? Цифра знаменательная. И не фатальная ли для почтеннаго пастыря: уже не грѣшенъ ли онъ во всѣхъ семи смертныхъ грѣхахъ?

Но въ сторону шутки. Не до шутокъ.

Обратите свое благосклонное вниманіе на эти повторенія: *больной, больной и больной*... Мы ужъ очень упорно упираемъ на свою гуманность!

Но, знаете ли, почтенный пастырь, что истинная доброта стыдлива: она не только никогда не будетъ кичиться собою, но и не любитъ, когда о ней говорятъ другіе.

Истинная доброта, творя добрыя дѣла, не думаетъ, что она кому то оказываетъ *милость*, не ждетъ *благодарностей*, и не бѣсится, когда встрѣчаетъ яко бы *черную неблагодарность*.

Такая доброта никогда не помнитъ, что она «то-то сдѣлала», — она помнитъ только объ одномъ: надо сдѣлать вотъ то-то... Вотъ у васъ послѣдняго «то-то» и нѣтъ. И у кого его нѣтъ— это мое убѣжденіе: тому никогда не довести добраго дѣла до конца!

Никогда. Ваша доброта—доброта отравляющая душу, родящая ненависть и озлобленіе.

Грубо кичиться состраданіемъ къ больному, котораго вы два раза швыряли на произволъ нужды—и когда? Жестки сердца людей, но все-таки есть дни въ году, когда жесткія сердца смягчаются и вспоминаютъ «о сирыхъ и неимущихъ».

А вы? Почтенный пастырь, васъ преслѣдуетъ какой то проклятый рокъ: въ первый разъ вы бросили меня безъ гроша въ карманѣ къ Пасхѣ одного, во второй—*тоже къ Пасхѣ*, и тоже безъ гроша, и уже *не одного*!

Пришла къ вамъ женщина. Она ни о чемъ васъ не просила. Вамъ почему-то захотѣлось втянуть ее въ свое болото и, когда она въ этомъ

болотѣ начала задыхаться, когда попыталась обратить на это ваше вниманіе—что вы сдѣлали? Вы умудрились и ее оплевать!

Вы человѣкъ не бѣдный. И грубо кичиться иногда *добротой избытка*, а иногда, можетъ быть, добротой и *ради избытка*!.. За такую доброту, можетъ быть благодаренъ не тотъ, кому *вообще больно* получать помощь, хотя бы она оказывалась и въ благородныхъ формахъ, а только тотъ, кто тунеядецъ, кто смотритъ на имущихъ, какъ на дойныхъ коровъ. Но много ли стоитъ такая благодарность? И кто, наконецъ, плодитъ такихъ тунеядцевъ—это доброта вашего порядка.

Эхъ, батюшка-батюшка! Горько на душѣ. До того, что всей этой горечи и не выскажешь.

И чтобы вы не писали, какъ бы вы о «Правдѣ Господней» не распинались—человѣкъ знающій васъ не повѣритъ вамъ.

Вы вотъ проституируете такими сентенціями: «Екатерина II говорила: лучше оправдать десять виновныхъ, чѣмъ осудить одного невиннаго. (И отъ себя добавляете). Еще болѣе справедливо назвать героемъ не того, кто въ одиночку убилъ семь непріятелей, а кто спасъ жизнь одному заклятому врагу».

Куда ужъ вамъ до спасенія жизни «заклятыхъ враговъ», когда вы съ такимъ *мужествомъ* можете добивать больныхъ «со скорченными руками и почти безъ ногъ?»

Видно, получать «оболы» за мораль—хорошо

и пріятно, а расплачиваться за нее—не одно и тоже.

Почтенный пастырь, позвольте дать вамъ совѣтъ.

«Когда человѣку нужна помощь—вспомните, что право на жизнь другого мы *обязаны* уважать менѣе своего; это по человѣчески—въ силу нашей взаимной обязанности, а если по Божьи—то и побольше, чѣмъ свое.

Вы, проповѣдникъ Бога, какъ я убѣдился, безконечно отъ этого далеки.

Право на проповѣдь морали въ вашемъ духѣ имѣютъ только тѣ, кому органически присуще только что высказанное мной понятіе о помощи; кому же это понятіе органически не присуще—тогда мораль подлая штука! Тогда она убиваетъ въ душахъ то, что хотѣла возраждать.

Вотъ все, почти все, что я вамъ хотѣлъ сказать, почтенный пастырь.

Остается одинъ только вашъ вопросъ, обращенный ко мнѣ: «Чего вамъ надо?»

Все ваше письмо вообще «особое», а этотъ вопросъ прямо «нѣчто особое».

И когда я въ вашемъ письмѣ дошелъ до этого вопроса—у меня въ глазахъ потемнѣло.

Кому вы этотъ вопросъ задаете? И *послѣ* чего? И сколько въ немъ позорнаго недомыслія, зачерствѣлой сухости?

Этотъ вопросъ обнажилъ васъ во весь вашъ ростъ.

И чего больше онъ во мнѣ вызываетъ—гнѣва или глубочайшей жалости—не могу опредѣлить. Слишкомъ много того и другого!

Полно отвѣтить вамъ на этотъ вопросъ пока не могу.

Если судьба будетъ ко мнѣ такъ многомилостива, что дастъ когда нибудь свободно вздохнуть, подлечить свои душевныя раны, дастъ возможность *поглубже заглянуть* въ міръ вамъ подобныхъ *и яснѣе опредѣлить* свой—тогда я, вѣроятно, полнѣе скажу—*чего мнѣ надо?*

А пока... пока я отъ васъ и отъ людей вашего типа желаю очень немногаго.

Почтенный пастырь, если бы я родился въ какой-нибудь другой культурной странѣ, въ странѣ, гдѣ не такъ беззастѣнчиво процвѣтаетъ хищничество, гдѣ есть большая національная сплоченность, гдѣ право человѣка на жизнь не затоптано, какъ у насъ, гдѣ стыдятся добивать больныхъ «со скорченными руками и почти безъ ногъ»—то тамъ бы я остался тѣмъ мягкимъ, незлобивымъ человѣкомъ, какимъ былъ я, когда вращался въ средѣ народа.

Тамъ, если бы я дѣйствительно, какъ по вашему, оказался полной бездарностью, *тамъ* все-таки человѣка такъ бы не кидали, такъ надъ нимъ не измывались: или подлечили бы и вернули къ трудоспособности, или дали бы какое-нибудь немудрящее дѣло: если, молъ, у тебя ужъ такой неудержимый зудъ писательства—

кусокъ хлѣба и уголъ тебѣ обезпеченъ, а остальное—въ остальномъ пусть тебя убѣдитъ время. Но я—я существую въ Россіи. Въ дикой, несчастной, кошмарной Россіи. Въ странѣ, гдѣ такимъ неучамъ, какъ я, приходится напоминать о человѣчности «лучшимъ людямъ» этой страны, ужасаться ихъ безсердечію, сухости, свидѣтельствовать имъ о томъ, что соотвѣтствіе ихъ слова съ дѣломъ—позорно-зіяющая бездна! Я въ странѣ, гдѣ изъ такихъ мягкихъ, простодушныхъ, черезъ чуръ даже любвеобильныхъ людей, какимъ не такъ давно былъ я, быстро дѣлаютъ авторовъ такихъ писемъ, какъ мое къ вамъ, почтенный пастырь.

И радъ бы не писать, да слишкомъ высокую марку преподносятъ: не выдерживаешь.

Значитъ, читайте!

Чего мнѣ надо?

Надо было мнѣ немного, но когда я пошелъ за этимъ немногимъ, мнѣ дали то, отчего голова ломится.

Ломится отъ наплыва чувствъ и мыслей— и все горькихъ.

Видите, почтенный пастырь, я очень люблю одну изъ сложныхъ тайнъ мірозданія—человѣка. Положеніе мое было такое, что лучше-бы мнѣ умереть, но я, оказалось, очень любилъ человѣка и эта любовь заставляла меня жить и искать помощи.

Любя человѣка, я, конечно, и вѣрилъ сильно въ него.

Любя человѣка—я жадно хотѣлъ имѣть всѣ знанія о немъ. И вѣрилъ, что мнѣ окажутъ доступъ къ нужнымъ знаніямъ.

Со страстной жаждой я хотѣлъ глубже знать, изучить и провѣрить вотъ эти слова въ стихахъ: *):

«Тотъ всеобъемлющій законъ,
Которымъ все живетъ отъ вѣка,
Онъ въ насъ самихъ, онъ заключенъ
Незримо въ сердцѣ человѣка:
Его любовь, и гнѣвъ, и страхъ,
Его надежды и желанья,
Все, что кипитъ въ его дѣлахъ,
Чѣмъ онъ живетъ и движетъ прахъ,—
Есть—та-же сила мірозданья!».

И я пошелъ къ тѣмъ, про кого думалъ, что они «свѣтъ міра». Пошелъ глупый, наивный восторженный: мнѣ кидаютъ пока замаскированную подачку, оскорбляющую меня милостыню, а я за эту «чечевичную похлебку» безъ всякихъ колебаній отдаю все «свое первородство», все лучшее своей души.

Но, вѣдь, и у такихъ простаковъ, какъ я иногда глаза открываются.

Какъ они открылись на другихъ—объ этомъ пока помолчу, а насчетъ васъ, почтенный пастырь, послушайте!

Чего мнѣ надо?

---

*) Алексѣя Толстого.

Мнѣ надо, чтобы вы любили людей не мертвой любовью, не отвлеченной, а живой. Для васъ пока не существуетъ человѣка конкретнаго, *кромѣ себя*, поэтому вы такъ къ другимъ грубы и не чутки. Поклонникъ мертвыхъ и книжныхъ формулъ—вы далеки отъ того, чтобы чувствовать горе и радость живой личности и, миссія ваша: угашать духъ! Претворять подаваемый хлѣбъ въ камни!

Мнѣ надо, чтобы вы смотрѣли на жизнь и людей иначе, чѣмъ смотрите теперь. Математика хорошая наука, но уложить въ ея формулы жизнь и человѣка—не всегда можно. У жизни и человѣка, почтенный пастырь, своя логика—и къ этой логикѣ нужно подходить не съ готовымъ, да къ тому же еще очень грубо сложившимся шаблономъ, а съ чувствомъ, почтенный пастырь, съ тѣмъ большимъ чувствомъ, которое знаетъ, что на каждый отдѣльный случай въ жизни и на каждаго отдѣльнаго человѣка должна быть особая мѣрка. Мнѣ надо, чтобы другіе не писали вамъ такихъ писемъ, какіе писалъ и пишу я вамъ и не получали отъ васъ вашихъ. Въ стремленіи реабилитировать себя вы повторяете: бездарность, бездарность, какая-то билиберда, какія-то писанія...

Объ этомъ можно сказать, если это нужно было сказать, одинъ разъ: ни вы, почтенный пастырь, ни вашъ соредакторъ, ни г. С.—такіе люди скоро не забываются и авторъ, вѣроятно,

болѣе васъ помнитъ, что его не печатали. Вы, почтенный пастырь, опоздали меня раздавить такимъ образомъ: когда я къ вамъ пришелъ впервые и, если бы тогда вы мнѣ сказали, что я бездарность—вы бы меня раздавили.

Когда «бездарность» видитъ, что утверждающій о бездарности авторитетъ прыгаетъ въ самыхъ лучшихъ случаяхъ не выше лба бездарности—можетъ-ли она повѣрить?

Вотъ, если бы къ вашему безъ нужды сильно выраженному мнѣнію присоединили аналогичное... ну, хотя бы Шекспиръ или Толстой—тогда бы другое дѣло.

Вы, почтенный пастырь, и другіе научили меня быть упрямымъ человѣкомъ: если я не встрѣчу *человѣка*, я издохну подъ заборомъ, но и издыхая тамъ, я буду убѣжденъ, что русская литература настолько богата... бриллiантами Тетъ, что не нашла нужнымъ поднять такое золото въ кварцѣ, какъ я.

Меня вы не раздавите эпитетомъ «бездарности», но мнѣ надо, чтобы вы не раздавили другихъ. Мнѣ надо, чтобы вы видѣли, уже *не сами*, а когда обращаютъ на это ваше вниманіе *другіе*, что люди, которыми вы себя окружаете, ни на что иное неспособны, кромѣ, какъ вставлять палки въ колеса того дѣла, которое вы ведете.

Мнѣ надо, чтобы вы *не удваивали* муку страданія тѣхъ, которые загнаны будутъ къ вамъ безвыходными обстоятельствами. Не удваивали!

Что нибудь одно изъ двухъ: или прямо добивайте, или оказывайте истинную помощь, а не комедію ея.

Мнѣ надо, чтобы вы имѣли уши слышать, когда оскорбленный человѣкъ взываетъ къ вамъ о справедливости. Вы мечтали при мнѣ, что хотите слышать, когда рабъ заговоритъ языкомъ свободнаго человѣка, а на дѣлѣ... когда, прижатый нуждой человѣкъ не выдерживаетъ вашего болота и рѣшается заговорить не рабьимъ языкомъ,—что вы ему посовѣтовали? Принять ваше болото за непогрѣшимое мѣсто и принизиться до раба!

Мнѣ надо...

Почтеный пастырь, отъ этихъ «надо» у меня голова ломится.

И я обобщу покороче всѣ эти «надо».

Вы—первый, за вами другой, потомъ *опять* вы, два *издали* большихъ человѣка дали мнѣ ужасное чувство.

Несчастная Россія, страшная страна, — что ждетъ тебя, когда твои лучшіе люди таковы?

Даже у этихъ лучшихъ людей нѣтъ на дѣлѣ истинно національнаго родства: слова говорятъ *о національномъ родствѣ*, а дѣла—*о національной розни.*

Чудится, что всюду врали, фразеры, книжники, карьеристы—только такіе заняли непринадлежащія имъ мѣста: глаголомъ жечь сердца людей!

И кажется, сколько бы ты любви и силъ не

принесъ въ этотъ міръ—ты всегда останешься въ немъ чужакомъ, гонимымъ и оплеваннымъ.

Не это-ли и есть истинная любовь къ народу?

Я пришелъ въ этотъ міръ «со скорченными руками и почти безъ ногъ», пришелъ съ трогательнымъ, благоговѣйнымъ чувствомъ въ душѣ: поддержите и научите, если заслуживаю».

И наталкиваюсь... къ кому подойдешь поближе—на «Кнутобоевъ духа», а на кого смотришь издали—къ тѣмъ страшно подойдти.

Видъ холодный, многознаменательный. Богъ умишкомъ тебя не обидѣлъ—многое понимаешь безъ указки, но по временамъ умишка начинаетъ мутиться.

То кажется, что они только притворяются, скрываютъ за душой не сокровища, а ломанные гроши; то, что ты дѣйствительно залѣзъ не въ свою сферу и не можешь понять идей и задачь этихъ людей.

Но это пока только еще по временамъ. Совсѣмъ еще не забили, не раздавили.

Въ моемъ ужасномъ чувствѣ, почтенный пастырь, и вы не мало потрудились.

Спасибо вамъ за него. За чувство гибели, упадка!

Это все, что вы мнѣ дали. И то, что вы мнѣ дали—я нахожу, что это очень далеко не только отъ Правды Господней, но и отъ обычной, нашей маленькой правды-человѣческой.

Простите за тонъ письма, онъ, можетъ быть,

мѣстами рѣзокъ; но, почтенный пастырь, когда слишкомъ сильно бьютъ—тогда по неволѣ сильно кричатъ.

Пребывайте во здравіе «Кнутобой духа»!

Такъ облагодѣтельствованный вами...

М. Сивачевъ.

Въ судъ однако, какъ я писалъ батюшкѣ, я не обратился. Во первыхъ, изъ не любви къ судамъ, ибо съ такими учрежденіями никогда дѣла не имѣлъ; во вторыхъ, чѣмъ доказать суду законность иска?

Стоило сказать батюшкѣ пару словъ, что несомнѣнно почтенный пастырь и заявилъ бы: «Все, что приносилъ мнѣ истецъ и его жена—все это было бездарно и ничего мной не взято»—и наше дѣло съ женой было бы проиграно.

Сдѣлалъ я попытку передать нашъ конфликтъ гласности—побывалъ въ редакціяхъ двухъ газетъ. и, въ обѣихъ нашли, что:

— Это дѣло суда. Да и тамъ врядъ ли вы выиграете.

Словомъ, старая истина:

— Съ богатымъ не судись, съ сильнымъ не борись.

Тогда я пишу почтенному пастырю, чтобы

женѣ вернули ея вещи, мнѣ два моихъ разсказа и статью о изобрѣтателѣ Бѣлянинѣ.

Мнѣ вернули... одинъ только мой разсказъ «Чудо».

Остальнoго ни я, ни жена ничего не получили. Что ни вернули вещи жены—это еще было понятно: ими, вѣроятно, было рѣшено покрыть взятыя нами деньги. Но на что и кому понадобились мой разсказъ и статья—это для меня осталось тайной.

Я писалъ вторично, требуя возврата своихъ вещей и документовъ, касающихся изобрѣтателя Бѣлянина*)—меня не удостоили *отвѣтомъ*.

Еще позже—время выяснило вдохновителей «Правды Господней» вполнѣ.

Дѣло тамъ не въ талантѣ, а въ томъ: кто больше *потрафитъ* такимъ лицамъ, какъ соредакторъ почтеннаго пастыря и г. С.—тотъ больше и заработаетъ.

Дошло до того, что жена столяра, *того*, съ котораго почтенный пастырь совѣтовалъ брать мнѣ примѣръ, какъ съ «очень способнаго человѣка»,—жена этого столяра, портниха по профессіи, была редакціей «Правды Господней» командирована въ Берлинъ и писала оттуда корреспонденціи...

Не думайте, что о какихъ нибудь пустякахъ?

*) Не вернула редакція «Правды Господней» документовъ и Бѣлянину, хотя адресъ его редакціи былъ извѣстенъ.

О, нѣтъ! На портниху была возложена большая миссія: изучить психологію такого огромнаго города, какъ Берлинъ!

И портниха справлялась со своей задачей великолѣпно: ходила по Берлину и, восторгалась въ корреспонденціяхъ... вывѣсками, вѣжливостью обращенія, дешевизной и опрятностью номера, въ которомъ жила, а потомъ неизбѣжно недоумѣвающе плакала:

— «А у насъ ничего... ничего подобнаго нѣтъ! И почему?»

Потомъ все больше и больше началъ выясняться «очень способный человѣкъ».

Когда «Правда Господня» прекратила свое существованіе—этотъ столяръ публикуетъ, что у него складъ сочиненій почтеннаго пастыря... Сумѣлъ значить подъѣхать!

Еще немного и онъ объявляется въ роли редактора—издателя народной газеты.

Любопытство погнало меня къ этому... товарищу—рабочему! Прихожу. Не узнаваемъ. Сюртучный костюмъ, длинные писательскіе волосы и... очки!

Синіе: чтобы за ними не было видно глазъ.

Повадка—такого редактора я узрилъ еще впервые: не генералъ, а генералиссимусъ-редакторъ!

Спрашиваю:

— Въ матеріалѣ не нуждаетесь?

Протягиваетъ руку за рукописью и—снисходительно:

— Нуждаться? Далеко нѣтъ. Но... давайте, просмотримъ. Подойдетъ—возьмемъ. Зайдите недѣльки черезъ двѣ.

Я отдаю рукопись и, спохватываюсь:

— Позвольте! Вы оплачиваете принятый матеріалъ, или нѣтъ?

Генералиссимусъ вдругъ просіялъ:

— Этого, къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ. Изданіе еще молодое. Но... надѣюсь... (пауза) когда окрѣпнетъ средствами, тогда можетъ, быть...

Я задаю вопросъ.

— А вы за то, что редактируете газету, что нибудь получаете?

— А какъ же-съ? Надо же мнѣ на что нибудь жить?

Я вытягиваю изъ рукъ такого редактора свою рукопись:

— А мнѣ тоже на что нибудь надо жить!

— Но позвольте: вѣдь, я же говорю, что когда окрѣпнетъ средствами, тогда можетъ быть...

— Ахъ, только еще «можетъ быть». Надежда плохая.

Онъ отъ неожиданности растерялся и... хихикнулъ. Сквернымъ смѣшкомъ смущенной мелкой душонки.

Я тронулся къ выходу, онъ меня остановилъ:

— Слушайте. Изданіе молодое и... идейное. Вы знали газету «Правда Господняя»? Я *съ большимъ успѣхомъ* работалъ въ этой газетѣ. Но

она—ее задавили административно. А я, вотъ, поднимаю знамя этой газеты...

Я поворачиваюсь къ выходу и бросаю:

— Желаю вамъ съ честью нести его!

И что же? Напророчилъ я этому редактору нѣчто.

Мѣсяца черезъ два, онъ свою газету продалъ одной партіи: это было время выборовъ во вторую государственную Думу и партія купила органъ ради агитаціонныхъ цѣлей. Тиражъ газеты столяра былъ значителенъ; это отмѣтилъ одинъ юмористическій журналъ, а вмѣстѣ съ тиражемъ отмѣтилъ и фактъ, что столяръ задѣлавшись редакторомъ ѣздитъ не иначе, какъ на лихачахъ.

Но тиражъ былъ все-таки не настолько высокъ, чтобы окупать лихачей и... пьяныхъ оргій въ редакціи—и газета была продана партіи.

А новая редакція на второмъ же номерѣ выразила сожалѣніе, что... огромный комъ грязи былъ брошенъ на рабочія массы за то, что столяръ-редакторъ распорядился деньгами на свои нужды, деньгами, которыя были на что-то пожертвованы подписчиками!..

Вотъ, молъ, каковы выходцы изъ рабочихъ-то!..

Столяръ *съ честью* вынесъ знамя газеты.

Еще позже—онъ издавалъ пятикопѣечные журналы. Издавалъ на средства участвующихъ—каждый авторъ помѣщающій свое произведеніе долженъ былъ его оплачивать, а затрату на это

получать въ видѣ соотвѣтствующаго количества номеровъ журнала и продажей его возмѣщать оплату. Находились сотрудники и на такихъ условіяхъ, всегда, конечно, оставались въ убыткахъ, а столяръ-редакторъ—очень рѣдкихъ изъ своихъ сотрудниковъ онъ удостаивалъ пожатіемъ руки.

Съ *честью* несъ достоинство редактора: жилъ на счетъ наивныхъ, слишкомъ довѣрчивыхъ людей, а до „панибратства“ съ ними себя не допускалъ.

Еше позже—когда дураки начали прозрѣвать и не давать не легко добытыхъ рублей на изданіе журнала,—столяръ и тутъ не потерялся. Пошелъ и долго работалъ у одного издателя: писалъ Шерлоковъ Холмсовъ и самую низкопробную порнографію *).

И такого-то вотъ *дѣльца* почтенный пастырь ставилъ мнѣ въ примѣръ, какъ «очень способнаго человѣка».

Радуюсь за почтеннаго пастыря: за его нюхъ узнавать людей!

---

*) А я... Много у меня потомъ было крайне тяжкихъ минутъ, когда казалось, что если бы подвернулась какая нибудь мегера, я ради искусства слова былъ бы способенъ продать себя. Себя, но не искусство, не слово свое: своей святыни я ни съ Холмсами, ни съ порнографіей не смѣшалъ.

1907 годъ. Конецъ ноября.

Братья-писатели! въ нашей судьбѣ,
Что-то лежитъ роковое...

Опять я беру эпиграфомъ эти слова Некрасова.

Я было забросилъ свои записки, болѣе полутора года прошло, а я не занесъ въ нихъ ни одной строки.

Хорошо это или нѣтъ? Пожалуй, лучше. Объективнѣе взглянешь на себя и на другихъ

Посмотримъ, что за «рокъ», лежащій въ судьбѣ современныхъ писателей.

Но съ чего начать? Голова ломится!

Я долго надъ этимъ думаю; потомъ мой взглядъ падаетъ на стѣны моего угла,—и припоминаются откуда-то слова: «какъ ты дошла до жизни такой?»...

И я рѣшаю: начну съ этого; съ того, какъ я въ эту яму попалъ.

Мнѣ необходимо нужно было переселиться въ одинъ районъ. Три дня я искалъ себѣ комнату въ этомъ районѣ—и все безплодно: на

лицо только то, что я измученъ поисками до упаду и ошарашенъ цѣнами до того, что отчаиваюсь найдти себѣ жилье въ нужномъ мнѣ мѣстѣ.

Иду на четвертый. И вотъ, въ тридцати шагахъ отъ того дома, куда я въ скоромъ времени долженъ ходить на занятія, на окнѣ одного подвальнаго помѣщенія записка о сдачѣ комнаты.

— Подвалъ? Вѣроятно, сырость? Мнѣ ли съ моимъ ревматизмомъ жить тутъ?

Окно съ запиской возвышается надъ тротуаромъ на одну треть, остальная его часть тонетъ въ землѣ.

Минутъ пять я стою въ нерѣшимости, раздумывая, что внѣ-подвальныхъ помѣщеній по своему карману мнѣ тутъ комнаты не найдти и наконецъ, рѣшаюсь войдти во дворъ.

Ищу, гдѣ же входъ въ квартиру № 6—и не нахожу. Прибѣгаю къ помощи дворника—онъ мнѣ указываетъ, вырывая у меня невольное признаніе:

— И это входъ въ квартиру? Ничего подобнаго въ жизни не видалъ!

Дворникъ ухмыляется и уходитъ.

И это входъ туда, гдѣ живутъ люди? Въ аршинъ съ четвертью ширины и не болѣе двухъ въ высоту, но аршинъ высоты скрадывается уровнемъ земли, дверь этого входа скрывается съ одной стороны стѣною дома, съ другой лѣстницею на второй этажъ настолько, что безъ

указанія дворника никогда нельзя принять это жилье за жилье.

Если и попадется на глаза — можно предположить, что это или курятникъ, или конура для собаки, или просто отъ чего-то оставшаяся брешь въ стѣну, за ненужностью закрытая досками; словомъ все, что угодно, но только не то, гдѣ могутъ жить люди: и смѣшно, и дико!

Я рѣшаю пойти осмотрѣть комнату — не затѣмъ, чтобы поселиться въ ней, а затѣмъ: надо посмотрѣть, до чего и куда люди нуждой загнаны?!

Иду. До двери—спускъ въ три крутыхъ ступени; отворяю ее—опять двѣ крутыхъ ступени, потомъ поворотъ направо — три шага въ этотъ поворотъ и я въ полнѣйшей тьмѣ. Зажигаю спичку и съ трудомъ разглядываю жуткую картину: около двухъ саженъ длины нора, въ концѣ ея дверь—идешь къ двери и касаешься плечами обѣихъ стѣнъ этого страшнаго хода.

Стучу въ дверь. Холодъ отъ камня въ этой норѣ остро-влажный, пронизывающій.

Дверь отворяется. Вхожу. Довольно большая кухня, но въ ней полутемно: вѣчные сумерки!

Хозяйка ведетъ меня черезъ кухню въ комнату, на ходу поясняя:

— Сама съ дѣтишками вотъ здѣсь ючусь, а комнатку-то сдаю. Хорошая комната! Довольны будете.

И вѣрно. Я удивился: комната сверхъ ожиданій. Три окна—одно на улицу, два во дворъ. Большая. И цѣна недорога: 11 рублей.

Чувствую, что рубль хозяйка можетъ уступить, но объ этомъ и не заикаюсь: за 11 рублей такая комната—это мнѣ кажется цѣлымъ кладомъ.

Спрашиваю, нѣтъ-ли сырости и пробую на ощупь одну стѣну: стѣна влажновата.

Хозяйка спѣшитъ увѣрить, что сырости у ней не водится:

— Это такъ. Видите: только вчера оклеена, ну, совсѣмъ-то еще и не просохло. Довольны будете.

Комната мнѣ очень нравится, но я припоминаю, каковъ въ нее ходъ—и колеблюсь:

— Комната, пожалуй ничего, а вотъ «лазъ-то» въ нее?.. Никогда ничего подобнаго не видѣлъ.

— «Лазъ»... Это входъ что-ли?— и хозяйка съ льстивой улыбкою отмахивается рукою: — Входъ то все и портитъ; если бы не такой входъ, то — за такую комнату надо взять 25 рублей! Свѣтлая такая, просторная. Пятерымъ жить можно.

Еще разъ я окидываю комнату взглядомъ — и она побѣждаетъ мой страхъ передъ входомъ: даю задатокъ.

Опять со свѣтомъ спички выбираюсь по жуткой норѣ на дворъ и смотрю на этотъ дикій входъ въ человѣческое жилье уже съ улыбкой

человѣка видавшаго виды на своемъ вѣку и,— съ успокаивающей мыслью, что ходить ко мнѣ некому, а самъ выхожу изъ дому въ день разъ-два.

Бѣда ужъ не такъ велика, какъ кажется.

Довольный неожиданной удачей иду домой, а на другой день къ часу дня—уже на новомъ пепелищѣ.

Сборы и перевозка, и расположенiе своего убогаго скарба въ новомъ углу меня утомили и я прилегъ вздремнуть, а когда проснулся — былъ удивленъ: неужели я такъ долго проспалъ?

Въ моей комнатѣ было настолько темно, что для того, чтобы взглянуть на часы мнѣ потребовалось зажечь спичку: было еще только около трехъ дня.

Меня охватилъ внезапный приливъ тяжкаго чувства.

— Куда я попалъ? Вѣдь, это яма какая-то. И какъ я могъ такъ ошибиться?

Я припомнилъ вчерашнiй день — этотъ день меня обманулъ. Слегка морозный, ярко-солнечный, онъ точно зло смѣялся надъ зимою, выжигая на ея парчевомъ покровѣ сѣровато—бурыя, тяжело осѣдающiя пятна, а мѣстами, гдѣ меньше снѣгу, и совсѣмъ черныя проталины.

Скрасило солнце и мою комнату — весело брызгали его лучи въ два окна моей комнаты, (когда я ее осматривалъ) и, доходя до стѣнъ, оклееныхъ бѣлыми, новенькими обоями, падали

на эти обои снопами золотистаго цвѣта, что и создало мнѣ иллюзiю, что эта подвальная комната не такъ уже страшна, какъ можно о ней думать съ улицы: достаточно свѣтла и уютна!

Но это было вчера, а сегодня: я упустилъ изъ виду, что я осматриваю комнату въ одинадцатомъ часу утра и, что солнце свѣтитъ такъ ярко зимой далеко не каждый день!

И въ первый разъ въ жизни я до такой остро пугающей и волнующей тоски почувствовалъ, какъ дорогъ и необходимъ человѣку свѣтъ дня.

Вставали невольныя сравненiя комнаты только что покинутой и этой новой.

Тамъ сухо, тепло; здѣсь сырость, со стѣнъ вѣетъ застарѣлой, холодной плѣсенью чрезмѣрно влажнаго камня.

Тамъ одно окно—но огромное, изъ цѣльнаго стекла.

Тамъ свѣтло днемъ, еще лучше ночью. Можно было обходиться безъ огня: прямо противъ окна газовый фонарь—такъ хорошо было сидѣть и смотрѣть на его ровный, бѣлый, успокаивающiй свѣтъ: мрачная тяжесть пережитаго скрашивалась свѣтомъ тихой, мудрой скорби—той, что уже начинаетъ постигать лицо Вѣчности,—и вселять въ душу тишину примиренiя съ острыми углами жизни.

А здѣсь—здѣсь три окна, но развѣ это окна?

Три выбоины-ниши въ толстыхъ стѣнахъ, откуда изображая собой свѣтъ, зловѣще пучаться въ

комнату три бѣлесовато-темныхъ тяжелыхъ квадрата. Я пытался побороть себя тѣмъ, что перемѣна комнаты была необходима, что здѣсь мѣсто моихъ занятій, что называется «подъ бокомъ», что, наконецъ, гдѣ же въ Москвѣ, въ центрѣ города, найдешь себѣ комнату за 11 руб. въ мѣсяцъ, какъ не въ подвальномъ помѣщеніи? Да и не на вѣчно же я здѣсь поселенъ: отживу мѣсяцъ—и съѣду.

Но какъ я себя ни убѣждалъ—а приливъ тяжкаго чувства не исчезалъ: выжить тутъ мѣсяцъ это казалось такой безконечностью, которой не выдержишь.

Порывало встать и бѣжать.

Когда совсѣмъ погасли бѣлесовато-темные квадраты, я поднялся съ постели и зажегъ огонь; комната отъ огня немного повеселѣла, но квадратные выбоины зіяли угнетающе: вмѣсто такъ привычной синей или бархатисто-мягкой тьмы ночи глазъ рѣзали бѣлѣвшіе за стеклами снѣжные тупики.

Я лѣзу въ чемоданъ, вытаскиваю простынь, разрываю ее на куски и занавѣшиваю ими окна.

Оглядываюсь—бѣлый фонъ обоевъ мягко гармонируетъ съ бѣлыми занавѣсками и мое тяжкое чувство слабнетъ; даже вырывается вздохъ облегченія.

Берусь было за книгу, но сосредоточиться на ней не удается. Трудно подавить мысль, что стоитъ только откинуть занавѣски отъ оконъ, и

вновь явится нѣчто похожее на чувство заживо замурованнаго человѣка.

Не нужно ничего читать—довольно этихъ оконъ: стоитъ только глядѣть на эти угрюмо-снѣжные тупики,—они послѣдовательно развернутъ всю ту чудовищную картину насилія надъ человѣкомъ, гдѣ предпослѣдній финалъ: отнято у человѣка его послѣднее, неотъемлемое право видѣть изъ своего жилья Міръ Божій!

Отнято неотъемлемое право. Полумогила заживо. Ускореніе уже полнаго конца. Узаконенное убійство.

Моя комната отдѣлена отъ кухни перегородкой изъ тонкихъ досокъ.

Когда я перебирался—дѣтишекъ я видѣлъ мелькомъ; два мальчугана лѣтъ 8 и 10, и дѣвочка лѣтъ пяти.

Днемъ молчали. Сидѣли, прижимаясь другъ къ другу на кровати, такъ смирно, точно ихъ и не существовало. Теперь разошлись. Чѣмъ то стучали, громко кричали и смѣялись мальчуганы, а ихъ сестренка придиралась къ нимъ за то, что они ее отчуждаютъ отъ себя и, черезъ каждые три-пять минутъ принималась капризно ревѣть.

Съ раздраженіемъ я закрылъ книгу и выглянулъ въ кухню.

Малыши притихли, а дѣвочка подобралась къ юбкѣ что то шьющей матери.

У меня холодно, а въ кухнѣ еще холоднѣе.

Моя комната согрѣвалась большою лампою, а тутъ—скупо горѣла маленькая, до мучительнаго чувства маленькая, точно дѣтская игрушка, жестяная лампочка, гдѣ фунтъ керосину будетъ горѣть болѣе недѣли. Дѣтишки истощены, съ иззябше-зелеными лицами, одѣты въ грязно-рваную рухлядь—и мнѣ стало стыдно за вспыхнувшій во мнѣ порывъ раздраженія: я выглянулъ въ кухню съ тѣмъ, чтобы замѣтить хозяйкѣ, что шумъ дѣтей мнѣ мѣшаетъ заниматься.

Дикимъ насиліемъ показалось отнимать у нихъ эту свободу.

Но хозяйка поняла и безъ моего замѣчанія:

— Безпокоютъ васъ? А вотъ я сейчасъ,— и ея рука рѣшительно потянулась за плетью, висѣвшей рядомъ съ образами.

Я попросилъ, чтобы она дѣтишекъ не трогала; потянуло поближе присмотрѣться къ этимъ малышамъ и, ласково потрепавъ старшаго изъ нихъ по плечу, я попытался заговорить.

— Весело тебѣ? а? Какъ тебя звать?

Старшакъ смутился: засунулъ полкулака въ ротъ и большими, печальными и испуганными глазами косился то на мать, то на меня.

— Ты не бойся. Я ничего... я не сердитый...

Дѣвочка оторвалась отъ юбки матери и, принимаясь тормошить старшака, пояснила мнѣ, какъ его звать и, убѣждала его:

— Митькой его звать. Митька говори! Дядя добрый... Ну?

Митька пытливо заглянулъ мнѣ прямо въ лицо и, должно быть, повѣрилъ, что «дядя» и въ самомъ дѣлѣ «добрый»—ткнулъ на игрушечную лампочку пальцемъ и важно заявилъ:

— Когда огонь—мнѣ весело...

Братишка его подтвердилъ:

— И мнѣ тоже!

— Почему же вамъ при огнѣ весело?

Митька задумался. И, вѣроятно, старшакомъ онъ былъ не по однимъ только лѣтамъ: братишка и сестренка выжидательно уставились на него глазенками, а онъ основательно—столько, сколько думаютъ солидные люди, подумалъ и авторитетно заявилъ:

— Такъ!

И видя, что отвѣтъ меня не удовлетворилъ, что я хоть и молчу, но выжидаю болѣе подробнаго объясненія—еще подумалъ и добавилъ:

— Днемъ мы не играемъ: днемъ — темно и плакать хочется. А теперь—теперь весело! Теперь, какъ лѣтомъ!..

Я не понялъ, что значитъ «какъ лѣтомъ» и допытывался у Митьки:

— Какъ же это? Почему тебѣ при огнѣ такъ весело, какъ лѣтомъ? И почему тебѣ весело лѣтомъ?

Митька былъ въ затрудненіи: опять засунулъ полкулака въ ротъ и упрямо твердилъ:

— Такъ...

А когда сестренка рѣшила:

— Митька, — дуракъ. Онъ ничего не понимаетъ...

То Митька,— разсердился: такое не по дѣтски злое и холодное выраженіе залило его худенькое, блѣдное лицо, что я съ тяжелымъ чувствомъ поспѣшилъ убраться въ свою комнату.

Но и тамъ не могъ оторваться отъ загадки маленькаго мудреца. Слышалъ, какъ нѣсколько минутъ дѣти съ тихимъ смѣхомъ тихо шушукались,— очевидно насчетъ меня, — а потомъ вновь подняли гамъ и возню.

Въ одинадцать часовъ мать ихъ попросила укладываться спать. Они не хотѣли; пригрозила плетью—побоялись и улеглись. А когда мать собралась тушить огонь — всѣ трое въ одинъ голосъ принялись робко-трогательно просить:

— Мама, не туши солнышка... Не туши, мамочка, солнышка!

Я вздрогнулъ и сердце у меня на мигъ замерло. Пріотворяю дверь въ кухню—въ ней уже огонь потушенъ. Но широкая и яркая полоса свѣта падаетъ изъ моей комнаты въ кухню и освѣщаетъ лица сбившихся на постели дѣтишекъ и лицо матери--сухое, желтое, какъ охра, съ голодно-лихорадочнымъ блескомъ глазъ.

Она еще не успѣла лечь и стояла у постели.

— Почему бы вамъ, хозяйка, не оставить огня?

— Къ чему?

Безропотно-униженная, съ лестью, проникавшей все ея существо въ то время, когда я нанималъ у ней комнату—теперь она полуобернулась ко мнѣ съ остро-враждебнымъ движеніемъ плечъ.

— Да хоть къ тому: можетъ быть дѣтямъ при огнѣ спокойнѣе спать.

— Баловство какое! Керосинъ мнѣ даромъ не даютъ.

Дѣтишки завозились; потомъ дѣвочка приподнялась и протягивая рученки къ свѣту изъ моей комнаты, тоскливо пролепетала:

— А, вотъ у дяди—солнышко-то... Большое!

— Молчать! — прикрикнула злобно мать и, засмѣялась сухимъ, непріятно-деревяннымъ смѣхомъ.

Я вернулся въ свою комнату, раздѣлся, потушилъ огонь, и улегся спать. Воздухъ нагрѣтый лампой отъ холодныхъ и сырыхъ стѣнъ быстро свѣжѣлъ и заставлялъ думать: каковъ сонъ дѣтей подъ утро, укрытыхъ какой то рухлядью?

Изъ жилья выше въ подвалъ врывались какіе то тупые, ритмическіе звуки, — это раздражало, казалось, что кто-то умышленно не хочетъ дать заснуть.

Заснулъ я поздно, подъ самое утро и не здоровымъ сномъ: поднялся съ больной головою.

Хозяйка подала самоваръ и покосилась на окна: время уже къ двѣнадцати дня, а въ моей комнатѣ угрюмо вѣяли вечерніе сумерки.

И переступая съ ноги на ногу около стола, она нерѣшительно сказала:

— Заспались вы долго. Хорошо такъ поспать. А у меня вотъ всегда безсонница. И отчего — сама не знаю.

Она видѣла, что я хмуръ; чуяла причину и заговорила съ цѣлью отвлечь меня отъ непріятныхъ ей мыслей.

Мнѣ было противно и жаль ее за ея ложь. Я промолчалъ.

Она пошла и, когда переступила порогъ изъ комнаты въ кухню, искоса бросила на меня взглядъ. И такая бездна застарѣлой ненависти брызнула изъ этого взгляда, точно меня неожиданно обожгли.

Несчастныя дѣти, эта женщина, сырыя и холодныя стѣны подвала—мысль обо всемъ этомъ давила. Насильно, съ отвращеніемъ я выпилъ стаканъ чаю: глоталъ и думалъ, что же мнѣ дѣлать? Глоталъ и блуждающимъ взглядомъ бродилъ по стѣнамъ своей комнаты. Новые, бѣлые обои мѣстами начали сырѣть; подхожу, осматриваю и убѣждаюсь, что черезъ три дня, самое большее черезъ недѣлю, эти обои намокнутъ, какъ тряпка.

У меня взрывъ опасенія, что мой ревматизмъ при такой обстановкѣ свалитъ меня съ ногъ въ двѣ—въ три недѣли окончательно—и я одѣваюсь, выбираюсь изъ подвала и иду... иду, куда ноги ведутъ.

Погода отвратительная: крупныя и мокрыя хлопья снѣга при сильномъ вѣтрѣ слѣпятъ глаза.

Во мнѣ — перемѣна: подъемъ духа. Я чувствую, какъ веселая, почти буйная волна захватываетъ меня отъ такой погоды, и бодро шагаю по бульвару.

Думаю: почему мнѣ безпричинно весело въ эту тьму кромѣшную и, безпричинно грустно, когда я вижу яркое, весеннее солнце?

Думаю и прихожу къ заключенію: этимъ «шиворотъ—на выворотъ» я обязанъ «учителямъ жизни.»

Вставало прошлое, грядущее—все пока сплошной заколдованный кругъ: оглянешься назадъ—ужасъ неотступно шелъ по пятамъ, посмотришь впередъ—ужасъ впереди: нѣтъ увѣренности, что не будешь задавленъ на полпути.

И темные призраки грядущихъ бѣдъ грозились мнѣ изъ все сильнѣе расходившейся метели, а я миновалъ одинъ бульваръ, другой, повернулъ куда то въ переулки—я шелъ съ тѣмъ мужествомъ, которое не дрожитъ ни передъ чѣмъ и со всѣмъ тѣмъ, что будетъ, хочетъ помѣряться до конца.

И когда я вернулся съ этой прогулки—я весело взглянулъ на свой уголъ: «Отъ такого пустяка—и уныніе? Чортъ знаетъ что... Точно я въ немъ на вѣчность поселенъ. Стыдно!»

Черезъ недѣлю я отправился въ редакцію одного журнала. Идти было всего нѣсколько десятковъ шаговъ—и я медлилъ.

У меня было то блаженное состояніе, когда больной начинаетъ чувствовать, что продолжительная и тяжкая болѣзнь идетъ къ благополучному концу: полтора года я просилъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, чтобы мнѣ помогли устроиться на какое нибудь маленькое дѣло—и все безплодно.

Но здѣсь... здѣсь клюнуло!

Завѣдующій редакціей встрѣтилъ меня смущенно: когда ему предстояло какое нибудь непріятное объясненіе, онъ нервно начиналъ приглаживать на лѣвомъ вискѣ такой непокорный вихоръ волосъ, который изъ всегда тщательно причесанной головы торчалъ очень демонстративно, Я насторожился: опять, вѣроятно, оттяжка.

Оказывается, вышло нѣчто много хуже; завѣдующій помолчалъ и началъ мямлить:

— Ахъ, это вы... Это, конечно, очень печально... А впрочемъ... Что вы мнѣ имѣете сказать?

Что я ему имѣю сказать?!

И не смотря на всѣ мои усилія казаться спокойнымъ - мой отвѣтъ былъ рѣзокъ, остро-отточенъ:

— Ничего иного, кромѣ того, что въ категорически назначенный вами срокъ, пришелъ приняться за обѣщанныя вами занятія!

Онъ отвернулся въ сторону; попытался пригладить непокорный вихоръ—онъ медленно началъ топорщиться вверхъ; когда убѣдился, что онъ на своемъ мѣстѣ — злобно дернулъ его въ одну сторону, потомъ въ другую и, вновь замямлилъ:

— Видите-ли... Случилось нѣчто непредвидѣнное... Внезапно! Совершенно неожиданно. Тотъ корректоръ, мѣсто котораго вамъ обѣщано — опять остается у насъ.

— Позвольте,— говорю я, а потомъ голосъ мой падаетъ, я замолкаю.

Богатая обстановка кабинета, полъ обитый зеленымъ сукномъ, завѣдующій, растерянно и съ опаской поглядывавшій на меня, портреты на стѣнахъ — все это плыветъ и кружится въ моихъ глазахъ.

У меня, должно быть, былъ очень убитый видъ — а завѣдующаго это подбодрило; онъ поспѣшно началъ оправдываться:

— Я васъ понимаю... Это мѣсто вы выжидали около двухъ мѣсяцевъ. И будь бы я на мѣстѣ издателя, то, конечно, по справедливости, счелъ-бы, что тому корректору нужно отказать, а васъ на его мѣсто. Но я не издатель.

Я точно просыпаюсь:

— Ахъ, да, издатель! А вотъ я пойду къ нему. Я повѣрилъ вамъ—и черезъ васъ чортъ знаетъ въ какую яму попалъ. Я объяснюсь. Онъ долженъ меня понять...

— Зачѣмъ же къ издателю? Я не совѣтую. Это не поможетъ.

У меня внезапная догадка:

— Да знаетъ ли издатель, что мѣсто думающаго уйдти отъ васъ корректора ожидалъ другой человѣкъ?

— Какъ вамъ сказать?—завѣдующій мнется, потомъ находится;—О, да, конечно! Но только онъ страшно разсѣянный человѣкъ; онъ можетъ забыть и отвѣтить вамъ, что ничего объ этомъ не зналъ.

Я вижу, что поймалъ завѣдующаго врасплохъ. Но, чтобы окончательно убѣдиться—молча выхожу изъ кабинета и иду въ комнату корректора. Онъ кстати на лицо: занятъ работой. Разспрашиваю и выясняется:

— Уходить?—и корректоръ дѣлаетъ удивленные глаза:—Объ этомъ совсѣмъ и не думалъ. Правда, съ завѣдующимъ мы не въ ладахъ; онъ радъ бы меня сжить—но гдѣ ему? Онъ никакой роли здѣсь не играетъ; держится на мѣстѣ завѣдующаго редакціей—а завѣдуютъ то за него другіе. Его дѣло—давать объясненія, какіе ему прикажутся.

Я возвращаюсь къ завѣдующему. У меня то ледяное спокойствіе, когда разбивается что-нибудь большое, важное—и холодно я завѣдующему говорю:

— Не хорошо! Мы уже не дѣти; намъ пора, давно пора знать, что увѣренно обѣщать основываясь на одномъ только «авось»—это осложняется иногда въ очень тяжелыя послѣдствія...

Онъ старается быть внѣшне спокойнымъ:

— Что же вы сердитесь? Кто же это могъ предвидѣть...

— Что предвидѣть?

— Да то, что корректоръ не уйдетъ. И... вообще: мнѣ, какъ видно, всегда приходится расплачиваться за свою любезность...

— «Любезность?»—и съ порывомъ холоднаго бѣшенства я ближе пододвигаюсь къ этому человѣку. Я вижу передъ собой то гаденькое лицо, которое страдаетъ не отъ раскаянія за то, что по его винѣ ухудшилось положеніе другого, а оттого, чтобы поскорѣе кончилось это непріятное объясненіе; кончится оно—и сейчасъ же забудется; а явится вновь случай быть «любезнымъ» *передъ виднымъ лицомъ*—(письмо къ завѣдующему съ просьбой, что нельзя ли меня устроить при редакціи къ какому нибудь дѣлу давалъ писатель З.)—вновь дастся обѣщаніе на «авось»! Ибо это такъ надо, чтобы завязывать знакомства съ *видными лицами*, а что отъ этого можетъ быть *съ невидными*—это не важно.

Меня порываетъ на скандалъ, но я сдерживаюсь и ухожу.

«Любезный» человѣкъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ за мной и предлагаетъ:

— А не возьметесь-ли вы давать отчеты?

— Какіе отчеты?

— О выставкахъ, о музыкѣ, вообще объ искусствѣ.

Я усмѣхаюсь:

— Не за свое дѣло я никогда не берусь. А вотъ съ вашимъ издателемъ на счетъ мѣста корректора я непремѣнно поговорю.

Отъ безхарактерно-бѣгающихъ глазъ «любезнаго» человѣка вѣетъ опасеніемъ, что и въ самомъ дѣлѣ этотъ «грубый человѣкъ» пойдетъ на объясненія къ издателю—и онъ спѣшитъ отговорить:

— Не совѣтую. Ничего изъ этого не выйдетъ. Попытайтесь лучше съ отчетами.

Мнѣ этотъ человѣкъ противенъ, жалокъ, и, уходя, я бросаю:

— Можете быть, покойны. На объясненія къ издателю не пойду: милліонеры ни съ нуждой, ни съ справедливостью не знакомы.

Облегченно поднимаются на меня безхарактерно-бѣгающіе глаза, облегченно потираются руки—и какъ послѣ пріятной бесѣды, очень радушнымъ тономъ выражается просьба:

— Кланяйтесь отъ меня Б. К.

Это тому, кто мнѣ далъ къ этому «любезному» письмо.

Съ зловѣщимъ чувствомъ, что за одной бѣдою жди другую—я лежу день, потомъ другой. Устало и тупо я думаю о томъ, какъ создалась иллюзія на мѣсто корректора и, какъ разбилась: глупо и подло!

Только два слова. Усталъ я вспыхивать.

Какъ быть? Что предпринять, чтобы вывернуться изъ неожиданно выросшаго тупика—объ этомъ тоже не думаю: пока чувствую только одно, что мнѣ надо «отлежаться», а дальше... тамъ увидимъ!

Но, какъ я себя иногда презираю за эти «дальше».

Какая сила гонитъ меня на новыя мытарства, на новыя униженія — сила ли мужества или страхъ смерти, котораго я какъ будто бы въ себѣ не замѣчаю—въ этомъ я пока не отдаю себѣ отчета.

Я отлежался. На третій день встаю—встаю безъ мысли, что либо предпринять, встаю только потому, что чувствую въ этомъ потребность, встаю—и вотъ новый ударъ.

Получаю отъ жены письмо:

«Родной, вижу, какъ пріютившіе меня люди могутъ раскаиваться за свой добрый порывъ и не могу больше имъ быть въ тягость. Рада за тебя, что ты, наконецъ-то, пріискалъ себѣ мѣсто: чтобы мы стали дѣлать безъ него? Завтра выѣзжаю».

Я вдругъ похолодѣлъ; похолодѣлъ до какого-то чудовищнаго состоянія, когда самъ чувствуешь, что отъ твоего лица вѣетъ чуть не холодомъ трупа.

Такое состояніе случилось со мной впервые, когда жена написала мнѣ о смерти нашего ребенка. Я застылъ тогда съ письмомъ въ рукахъ и ни о чемъ какъ будто-бы не думалъ, ничего не чувствовалъ, кромѣ одного, совершенно новаго мнѣ явленія: подъ нижнимъ вѣкомъ лѣваго глаза съ точностью пульса пульсировалъ какой то нервъ, ощутимый и безъ ощупи.

И теперь, первая моя мысль была объ этомъ: «Значитъ, повторяемость? Вотъ это плохо. Должно быть, останется на всю жизнь».

А нервъ работалъ. Точно кто-то изнутри билъ маленькимъ молоточкомъ затѣмъ, чтобы не давать возможности забываться, успокаиваться. Онъ работалъ съ точнымъ ритмомъ и эта точность прежде родила досадное безпокойство, какъ будто бы маленькое, безсознательное безпокойство, отчего инстинктивно съ недоумѣніемъ и улыбкой хочется отмахнуться рукой.

Но потомъ... потомъ пришло главное. Блуждающими глазами я обвелъ подвалъ и... припомнилъ—каковъ входъ въ него.

Я попытался представить себѣ, что за чувство переживетъ больная туберкулезомъ женщина, пока доберется до моей комнаты—и не могъ: весь дрогнулъ отъ мелкой дрожи, потомъ эта дрожь, какъ рябь рѣки отъ вѣтра, выростала въ волны ужаса, штурмующія безсильный, подавленный мозгъ.

Думалось, что сейчасъ надо что-то сдѣлать, но что именно до этого додуматься былъ не въ силахъ.

А потомъ и совсѣмъ не могъ думать. Легъ въ постель и лежалъ, поглощенный весь боемъ нерва.

Было очень нестерпимое въ этомъ явленіи: въ началѣ его удары имѣли безболѣзненное ощущеніе, но съ теченіемъ времени наростала и боль—все усиливаясь и усиливаясь она шла изъ области глаза въ область лба, а потомъ и мозга.

И странно, что безпокоила не боль, а тотъ ритмъ, который ее вызываетъ.

Хотѣлось—пусть боль болѣе сильная, до границъ, когда рвется невольный крикъ, но только бы не было этого ритма: чудилось, что отъ его точныхъ ударовъ радіусами разбѣгается то, отчего сходятъ съ ума, лѣзутъ изступленно въ петлю.

И съ бѣшенствомъ я надавливалъ ладонью руки на весь лѣвый глазъ, думая: «Это можетъ случится... О, это можетъ?..»

Боль ощущалась, но ритмъ исчезалъ; отнималъ руку—онъ являлся вновь. Опять надавливалъ ладонью, но и это перестало помогать: ритмъ на секунду замиралъ, а потомъ его ощу-

щали и область глаза и ладонь руки. Мысленно я стоналъ; «Боже мой, когда же этому будетъ конецъ?» Потомъ ругался: «Погоди, ты погоди: чортъ тебя возьми, я съ тобой расправлюсь...»

Въ какомъ нибудь одномъ опредѣленномъ видѣ «расправа» не представлялась: мерещились всѣ виды самоуничтоженія и всѣ въ сравненіи съ этой пыткой казались хороши и законны. *)

По временамъ я широко открывалъ глаза: большаго ужаса, какъ такіе глаза, я ничего себѣ ни представляю. То блуждающимъ, то остро напряженнымъ взглядомъ я искалъ въ своей комнатѣ помощи въ образѣ человѣка—но человѣка не было и, устало вѣки глазъ смыкались сами-собой, помимо моей воли и, гдѣ то, въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ сознанія, являлась мысль, что стоитъ позвать хозяйку—и она явится; но я не звалъ, ибо тоже сознаніе говорило мнѣ, что хозяйка мнѣ ничѣмъ ни поможетъ.

Потомъ вновь открывались глаза и, опять, то блуждающимъ, то остро напряженнымъ взглядомъ и, со всей силой мольбы, на какую способна человѣческая душа, останавливались на стѣнахъ, на мебели: это трагедія человѣческой души, которая извѣрилась въ людяхъ, это ея страшный итогъ, что со своимъ горемъ лучше идти къ волкамъ въ лѣсъ, это то безуміе, когда міръ не воодушевленныхъ вещей къ тебѣ

*) Частой повторяемости этого явленія не вынесетъ ни одинъ человѣкъ, какъ бы онъ не былъ силенъ.

ближе, чѣмъ міръ людей: смотришь на эти не воодушевленные предметы и душа на своемъ языкѣ разсказываетъ имъ о томъ, что за великое несчастье быть человѣкомъ.

А потомъ... потомъ у меня уже не было ничего: ни времени, ни мѣста, ни чувствъ, ни мысли—былъ одинъ только чудовищно подавляющій все ритмъ.

И сколько времени тянулась эта пытка, какъ она исчезла—этого я не помнилъ; казалось, что я заснулъ, а можетъ быть, я и не спалъ—фактъ былъ только тотъ, что я пересталъ ощущать ритмъ нерва и получилъ способность интересоваться временемъ: взглянулъ на часы—было около трехъ ночи.

Затѣмъ меня потянуло къ особой тетради, куда всѣ свои необычныя переживанія я заносилъ подъ первымъ впечатлѣніемъ.

Беру эту тетрадь и думаю: съ чего начать?

И вдругъ испуганно вздрагиваю и такъ быстро, точно секунда промедленія можетъ отнять у меня самое важное, заношу въ тетрадь:

«Есть въ глубинѣ человѣческихъ переживаній глубина, куда заглядываешь съ трепетомъ страха: боишься охватить сразу всей остротой внутренняго зрѣнія открывающуюся тайну, ибо эта тайна грозитъ, что за внезапное и полное открытіе ея, она раздавитъ своей шириной твое бѣдное, узкое, маленькое сознаніе. И невольно пятишся назадъ съ мыслью: значитъ я еще пока вполнѣ

не посвященъ—надо подготовиться. Но какъ подготовляться? Однажды я пережилъ пытку—вчера она повторилась съ большей силою; теперь я убѣжденъ, что она во мнѣ, она со мной: живетъ, и ждетъ, когда явиться случай проявить себя. А я смертельно этого боюсь: безумно хочется увѣрить себя, что этой пытки не было, что она тяжкій сонъ, которому не дай Богъ повториться. О, Вѣчность! Такъ страшны и такъ блаженны Твои дары: вчера Ты пріобщила меня къ своему ужасу Безконечности — сегодня во мнѣ Твоя великая Безконечная тишина. И ни единымъ звукомъ, ни единымъ словомъ я пока не дерзаю передать Твоихъ тайнъ. О, Вѣчность! Въ какой бы позѣ тѣло мое не было—сейчасъ я сижу, потомъ буду лежать—тѣло мое не важно, ибо духъ мой распростертъ передъ Тобою ницъ: все мое духовное я передъ Тобою—и мольба, и благословеніе, и покорность!»

Потомъ я откладываю тетрадь, тушу огонь и ложусь въ постель.

Лежу съ закрытыми глазами, но... можно иногда видѣть себя, какъ ты весь свѣтишься.

Тихій, сладкій сонъ медленно нисходитъ на меня.

Проснулся я около десяти утра.

Пробужденіе было тяжкое: слабый лучъ солнца робко и печально заглядывалъ въ одно окно.

Казалось: крикни—и онъ исчезнетъ. И если бы я въ этихъ стѣнахъ былъ одинъ—мнѣ не удержаться бы отъ крика.

Но тамъ, за тонкой перегородкой хозяйка: развѣ какого-то безсмысленнаго съ ея точки зрѣнія крика было бы недостаточно для того, чтобы заключить, что жилецъ кажется не того... не въ своемъ умѣ!

Сколько было бы потомъ любопытно-назойливыхъ взглядовъ, искавшихъ подтвержденія?

И вотъ я лежу, говорю себѣ, что я не только тѣломъ, но и духомъ становлюсь опасно боленъ, и размышляю о своемъ недугѣ.

Пріятно въ жаркіе, душные дни лѣта спрятаться въ комнатѣ и наблюдать, какъ знойное золото ухищряется прожигать темную ткань занавѣшенныхъ оконъ; а выйдти на дворъ, въ самое пекло—уже наслажденіе: голову печетъ, какъ яблоко, того и гляди кожа сморщится, но что голова, когда такъ блаженно всматриваешься и прислушиваешься, какъ душа улыбается и поетъ на своемъ непонятномъ языкѣ гимны Солнцу!

Весело и бодро на душѣ, когда солнце ярко напомнитъ зимѣ о своемъ существованіи.

Хорошо просыпаться въ началѣ весны, когда розовые потоки—кажутся Архангелами!—воюютъ въ комнатѣ съ хищнымъ и обманчивымъ владыкой—деспотомъ человѣка—воздухомъ; хорошо просыпаться, но какъ мучительно выйдти не только на улицу, но встать и выглянуть въ окно:

что то тяжкое, безконечно-печальное чудится въ ярко-весеннихъ лучахъ солнца, тяжкое и безнадежное до такой степени, передъ чѣмъ въ одинъ мигъ чувствуешь себя совершенно раздавленнымъ.

Когда это началось—спрашиваю я себя и, припоминаю весну этого года—яркій, весенній день, день, когда я неудержимо плакалъ оттого, что въ этотъ весеній день окончательно разбили мою вѣру въ человѣка.*)

Я пытаюсь припомнить далекую пору дѣтства, когда я каждой клѣточкой своего существа съ упоеніемъ молился Творцу за весенее солнце—но нѣтъ, все блекнетъ, тускнѣетъ, весна для меня теперь символъ нестерпимой тоски. Тоски, которую бросили въ душу въ одинъ прекрасный весеній день и отняли радость весеннихъ дней: не сразу вспомнишь этого тяжкаго дня, но сразу почувствуешь всю тяжесть тоски и нѣсколько минутъ мучительно недоумѣваешь: «Да отчего? Вѣдь, совсѣмъ, кажется, безпричинно.»

Но припомнишь *причину*... Припомнишь! Взвѣшиваешь и будешъ взвѣшивать то невѣсомое, что отняли, разбили, затоптали, отняли то, безъ чего ты—печальная, тоскливая тѣнь въ прекрасные весенніе дни, то, о чемъ думаешь: хуже этой тоски у меня ничего нѣтъ.

*) Болѣе подробно объ этомъ днѣ я говорю впереди въ своемъ письмѣ къ Горькому.

Но лучи весенняго солнца—были лучами безъ образа, а этотъ лучъ, робко и печально заглядывающій въ окно моего подвала—создалъ мнѣ образъ.

Казалось, что кто-то великій, безсмертный, уже давно безумный отъ того, что онъ видѣлъ, неустанно бродитъ по землѣ и съ безмѣрной скорбью заглядываетъ въ жилища людей.

И робкій и печальный свѣтъ луча—это не лучъ солнца, а свѣтъ его глазъ.

Еще разъ я попытался настойчиво внушить себѣ, что я боленъ, что такимъ вещамъ поддаваться нельзя, и поспѣшилъ подняться съ постели.

Пилъ чай. И печально и робко заглядывающаго луча уже не было, а я жилъ чувствомъ, что его не забудешь. Казалось, что ты сидишь—а онъ за спиной, пойдешь—онъ послѣдуетъ за тобой, закрой глаза... я пробовалъ дѣлать и это: тогда вѣки глазъ пронизывалъ этотъ странный, мучительный свѣтъ.

Свѣтъ, одно представленіе о которомъ вызывало потребность бурно рыдать отъ его безмѣрной скорби.

Но некогда, некогда отдаваться своимъ переживаніямъ, хотя бы и очень тяжкимъ, когда ты не одинъ: грядетъ нѣчто болѣе страшное, чѣмъ ты.

Я достаю изъ стола кошелекъ и, хотя знаю, что тамъ всего—на всего двѣ трехъ-рублевки, выкладываю ихъ на столъ—и застываю надъ ними.

Нестерпимо!

Опять блуждающими глазами я обвожу стѣны и различные предметы въ своей комнатѣ,—опять міръ невоодушевленныхъ вещей видитъ, какое несчастье быть человѣкомъ!—взглядъ мой падаетъ на зеркало и я вижу, что лицо мое мертвая маска, одни глаза страшно живутъ: голоса нѣтъ, голосомъ уже не крикнешь, а вотъ эти потемнѣвшіе, бездонные глаза кричатъ о томъ, что за борьбу ты переживаешь.

Глаза? Многіе-ли понимаютъ глаза, когда не слышатъ словъ?

Я мучаюсь. Злыя предчувствія, что у кого бы ты не попросилъ помощи, ты ни отъ кого ее не получишь, меня не покидаютъ.

Я мучаюсь, утрачиваю послѣднія силы, даже ненависть гаснетъ, и ищу поддержки: достаю пачку писемъ жены.

Вотъ предпослѣднее:

«Родной. Я просила у М. для тебя денегъ, но она рѣшительно отказала. Мало того: я замѣчаю, какъ она тяготится даже мною. Недавно она платила за меня за столъ и комнату 25 рублей и, забывая о томъ, что всѣмъ извѣстно, что ея милліонныя имѣнія и заводы чисты отъ долговъ, жаловалась на долги.

Мнѣ стоило большого труда, чтобы не упрекнуть ее въ алчности: вѣдь, она даже бездѣтна! Образъ жизни ведетъ замкнутый и, для кого умножаетъ то многое, что имѣетъ—совершенно не понимаю. Но довольно о ней. Мнѣ стыдно вспоминать, когда въ бытность со мною на гимназической скамьѣ она строила грандіозные планы на то время, когда она будетъ полною обладательницей завѣщаннаго отцомъ состоянія; теперь она полновластная хозяйка своимъ милліонамъ, но объ всѣхъ своихъ просвѣтительныхъ и благотворительныхъ планахъ забыла: живетъ съ мужемъ въ своихъ имѣніяхъ и охотится вмѣстѣ съ нимъ на волковъ! И очень не любитъ напоминаній, что когда то обѣщала быть *живымъ человѣкомъ*! Подумаемъ, родной, о себѣ. При мысли, что ты тамъ голодаешь, я въ отчаяніи. Ради тебя я готова вырвать изъ себя кусокъ мяса—но вѣдь это намъ не поможетъ. Тебѣ необходимо достать себѣ какое нибудь мѣсто; маленькое, хотя на 25—30 рублей, но это все же легче, чѣмъ въ безвыходныя минуты унижаться передъ какимъ-нибудь скотомъ. Я очень слаба, еле двигаюсь, но думаю взять урокъ. Но что это? Страшно сознавать, что это

уже не борьба за жизнь, а метанія умирающей жизни:».

Я медленно прочитываю это письмо—и сила есть: сила презрѣнія и ненависти.

Нельзя сдаваться, пока жива эта дорогая женщина: это значитъ оказаться въ ея глазахъ трусомъ, добить ее. Она за меня. Всюду и вездѣ за меня и ради меня. А я? Мнѣ невыразимо больно думать, что письма жены коснется рука недостойнаго, осквернитъ самую большую изъ моихъ земныхъ святынь, но, что страшнѣе—отдать-ли, можетъ быть, въ грязныя руки письмо, или видѣть, какъ дорогую и больную женщину раздавитъ нужда и этотъ подвалъ?

Знаю я: для людей все обязательно, кромѣ обязанности походить хоть немного на настоящаго человѣка,- на это люди идутъ съ величайшимъ трудомъ и отлыниваютъ отъ этого при первомъ ничтожномъ предлогѣ.

Знаю я: скорѣе капля источитъ камень, чѣмъ тронется иное сердце человѣческое, но, беру листъ бумаги и пишу.

Можетъ быть, и дрогнетъ сердце! Можетъ быть...

«Милостивый Государь. Нахожу лишнимъ много говорить отъ себя; прилагаю письмо своей жены и питаю надежду, что оно дастъ вамъ возможность вполнѣ понять: въ какихъ тяжелыхъ положеніяхъ бываютъ иногда люди. На-дняхъ

жена пріѣдетъ ко мнѣ. Больную туберкулезомъ легкихъ женщину ждутъ страшныя условія: если угодно убѣдиться—загляните въ мой подвалъ. Завѣдующій редакціей вашего журнала около двухъ мѣсяцевъ поддерживалъ во мнѣ надежду на мѣсто корректора при вашемъ журналѣ, но потомъ заявилъ мнѣ, что старый корректоръ остается. Я далекъ отъ мысли сталкивать съ мѣста человѣка: если это возможно, не разрѣшите-ли вы трудъ вашего корректора подѣлить между мной и имъ пополамъ, ибо этотъ корректоръ мнѣ передавалъ, что ему одному трудно справляться со всей работой. Прошу подѣлить эту работу хотя на время—пока я не пріищу себѣ другого дѣла. Но если такое совмѣстительство окажется почему-либо съ вашей точки зрѣнія неудобнымъ—тогда не найдете ли при редакціи какого-нибудь другого для меня дѣла; не найдется при редакціи—не окажете ли поддержку трудомъ при вашихъ торговыхъ учрежденіяхъ» *).

*) Этотъ господинъ—банкиръ; издавалъ декадентскій журналъ, на которомъ терпѣлъ по 80,000 рублей въ годъ убытка—и все-таки издавалъ. Банкиръ? Читатель, вы скажете, что все это не ново. Вѣрно. Но развѣ отсюда слѣдуетъ выводъ, что не надо объ этомъ говорить? Надо говорить!..

Я написалъ. Вложилъ свое письмо съ письмомъ жены въ конвертъ—и вновь поколебался: стоитъ ли посылать? И вновь переломилъ себя. Запечаталъ и отнесъ въ почтовый ящикъ.

Вернулся домой и посмотрѣлъ на свои рукописи: куда нести?

Опять появилась застарѣлая, мучительная боль—та, что приходится нести не обработанныя вещи, черновики; та, о которой такъ недавно, когда обѣщалось мѣсто корректора, съ радостью думалось: «Вотъ поправлюсь обстоятельствами, отдохну, подкормлюсь отъ голодовокъ, не будетъ этой окаянной нужды—тогда то поработаемъ. До полнаго удовлетворенія!»

Увы, рухнуло мѣсто.

Опять эта застарѣлая боль и это бѣшенство—взять эти жалкіе листы бумаги, пойдти въ редакцію одного толстаго журнала, гдѣ мнѣ говорятъ, что у меня значительное дарованіе, но не берутъ моихъ вещей потому, что я ношу имъ не то, что подходитъ подъ ихъ направленіе—взять эти жалкіе листки,—не плодъ свободнаго, ничѣмъ не придавленнаго творчества, а плодъ тоскливаго съ ума сводящаго отчаянія, и кинуть ихъ въ этой редакціи съ крикомъ: «Вы—слѣпцы: единственно вѣрный принципъ искусства тотъ, который раскрываетъ жизнь, а не скрываетъ, не крадетъ самого главнаго и важнаго; а вы именно это и дѣлаете—иногда по слѣпотѣ, иногда съ умысломъ. Вы слишкомъ узки

для того, чтобы вмѣстить въ себя большее, чѣмъ вы. И ищите себѣ только единомышленниковъ, а не талантовъ. Вотъ вамъ эти жалкіе листки—эти судорги больного и голоднаго мозга. Радуйтесь: добили!»

Безплодное бѣшенство!

Люди рѣдко кричатъ такъ, какъ слѣдуетъ кричать: даютъ давить себя безъ шума.

Я беру свои жалкіе листки-черновики и несу въ одну редакцію; по дорогѣ вскользь замѣчаю, что нѣкоторые встрѣчные останавливаютъ на мнѣ свое вниманіе.

Это раздражало и думалось: почему? И рѣшалъ, что виною мое дрянное пальто и лѣтняя шляпа: а морозъ свыше двадцати градусовъ!

Но, когда я передалъ въ редакцію свой разсказъ съ просьбой просмотрѣть его, какъ можно поскорѣе, что мнѣ и было обѣщано, а при выходѣ изъ редакціи, случайнымъ взглядомъ въ зеркало узрилъ свою физіономію — я понялъ, что вниманіе дарилось не моему костюму: впалыя щеки, мутныя глаза, полные тяжкихъ-тяжкихъ ожиданій и тупой покорности—не человѣкъ, а призракъ.

Даже себя испугался. И непріятное чувство—чувство противной жалости: такая забитость?!

Махаю рукой и, уже съ горькимъ чувствомъ отрываюсь отъ зеркала: вотъ оно литературное поприще-то!

Иду въ другую редакцію—туда, гдѣ говорятъ,

что у меня значительное дарованіе,—но по дорогѣ раздумываю и захожу къ писателю З.

Даю ему разсказъ, который онъ уже читалъ и прошу, что не устроитъ-ли мнѣ онъ его куда нибудь поскорѣе.

Обѣщаетъ:

— Я его передамъ къ А. (Это къ тому, къ которому я раздумалъ идти). Этотъ разсказъ мягко написанъ и онъ его возьметъ.

Я противъ:

— Бога ради, къ кому нибудь еще, но только не къ А. Такое ужъ у меня предчувствіе: А. говоритъ мнѣ только комплименты, но разсказа у меня никогда не возьметъ.

З. настаиваетъ:

— А я увѣренъ, что этотъ разсказъ онъ долженъ взять.

Я говорю, что если З. увѣренъ—я покоряюсь. И ухожу домой.

У меня темь, хоть глаза коли. Холодъ. Зажигаю огонь.

Потомъ отогрѣваюсь чаемъ и сижу до поздней ночи, ожидая пріѣзда жены.

Каково будетъ первое впечатлѣніе у больной отъ этой обстановки—этого я себѣ не представляю: ужасъ пронизываетъ меня.

На другой день около девяти утра я былъ пробужденъ грубымъ топотомъ ногъ: открываю глаза—рядомъ съ моей постелью дворникъ ставитъ дорожныя вещи, а около окна, снимая съ головы теплую шаль, стоитъ жена.

Я вскакиваю, торопливо одѣваюсь и помогаю раздѣться женѣ. Она мнѣ въ это время что-то говоритъ о дорожныхъ впечатлѣніяхъ, изъ чего я не упомнилъ и не понялъ ни одного слова: отдѣлывался короткими «Да?» и дрожалъ и отъ холода, и отъ радости встрѣчи и отъ страха, гдѣ эта встрѣча совершается.

Освобожденная отъ верхняго платья, жена слегка потянулась и застыла на минуту передо мной—тонкая, вся отъ носковъ ботинокъ и до волосъ головы цѣльная тѣмъ строго-неприступнымъ изяществомъ, что сразу внушаетъ почтительное чувство и, чего у нея въ такой мѣрѣ не бывало, когда она была и здорова.

Я смотрю на нее—и обрадованный и испуганный — и молчу. Она замѣчаетъ мою радость и шутитъ:

— Ты, кажется, до того огорченъ моимъ пріѣздомъ, что утратилъ способность рѣчи.

Съ робкимъ и виноватымъ чувствомъ, что я загубилъ жизнь этой молодой женщины, я молча тяну ее за руку къ себѣ и усаживаю на колѣни.

Она смѣется:

— Вотъ, вотъ! Теперь я, значитъ, легенькая!

Ахъ, дѣдъ-дѣдъ, не было для меня большаго огорченія, когда ты, когда то — припомни-ка, сколько разъ ты передо мною былъ въ этомъ виноватъ?—рѣшительно гналъ меня со своихъ колѣнъ прочь, а я сердилась на себя, что у меня такое тяжелое тѣло. Теперь я не давлю тебѣ ногъ? Очень рада!

Хозяйка подаетъ самоваръ.

За чаемъ я внимательно наблюдаю за лицомъ жены — украдкой: какое впечатлѣніе произвелъ на нее этотъ подвалъ, эта чудовищная нора — ходъ въ него? Ничего. Точно этой страшной обстановки и не существуетъ. И лицо у ней новое. Свѣтлая прозрачность кожи, обаятельная тонкость худобы, блескъ непонятно чѣмъ живущихъ напряженно глазъ.—Она была странно-прекрасна.

И то, что жило во мнѣ съ первой встрѣчи съ ней, что эта женщина мнѣ безгранично дорога—вдругъ дрогнуло во мнѣ отъ боязни: казалось, что эта странная красота миражъ, оптическій обманъ, которая при первой же попыткѣ осязать ея — исчезнетъ, но оставитъ, оставитъ все свое тончайшее очарованіе затѣмъ, чтобы ты жилъ и мучился: о бывшей дѣйствительности будешь тоскливо грезить, какъ о прекрасномъ снѣ, и въ грядущее съ неутомимой тоской станешь вглядываться и станешь отчаиваться, что всѣ твои надежды — грезы!

Было великое счастье — и какъ бы не было: уплыло, исчезло, а образъ его остался; будешь его искать и ждать, ибо тяжкое жизни иногда забывается, а прекрасное помнится, — оно внѣ силъ и памяти человѣка.

Я мягко и осторожно беру руку жены и пытливо заглядываю въ ея глаза: желаніе узнать, чѣмъ такъ напряженно живутъ эти глаза теперь—выростаетъ уже до муки.

Я зналъ эти глаза, когда они горѣли огнемъ страсти, гнѣва, зналъ въ нихъ силу подавляемой боли, скрываемой тоски; я ихъ изучилъ когда то до того, что по выраженію ихъ угадывалъ ея незначительныя, внутреннія переживанія — но теперь они были для меня неразрѣшимой загадкой: что-то уже неземное, безкрайнее таилось и свѣтилось въ ихъ свѣтлой бездонной глубинѣ. Точно какое то великое спокойствіе, которому чужда вся та многообразная область чувствъ, гдѣ гнѣздятся страданія человѣка. А это не вязалось съ моими представленіями. Я зналъ, какъ сильно жена любила ребенка и, хотя, когда похоронила его въ Крыму, писала мнѣ, что нужно имѣть мужество твердо пережить и этотъ ударъ—я все таки ожидалъ, что при встрѣчѣ съ женою замѣчу на ея лицѣ не одну тяжкую тѣнь, наложенную этой утратой.

Но не было не только новыхъ тѣней, но стерлись и тѣ, что жизнь запечатлѣла до меня, когда еще жена была дѣвушкой, и при мнѣ.

И не допуская мысли, что она могла забыть о

смерти ребенка, я чувствую, что въ перемѣнѣ съ женою есть что большое и важное.

Начинаю говорить о томъ, какъ она меня обрадовала; что въ сравненіи съ тѣмъ, когда она уѣзжала въ Крымъ—она неузнаваема.

— Видъ у тебя тогда былъ ужасный: землистое лицо, а глаза—о нихъ уже я лучше помолчу.

И сознаюсь:

— Откровенно скажу: я иногда думалъ, что больше не увижу тебя въ живыхъ.

Жена улыбнулась:

— Ого! Такъ ты меня уже хоронить собирался: на что, молъ, годна такая дохлая лошадь? А, если бы я и въ самомъ дѣлѣ умерла — полюбилъ бы ты кого нибудь вновь?

Я говорю, что не знаю, что на это сказать, ибо никогда объ этомъ не думалъ.

— Подумай.

— Ты съ ума сходишь?

— Нисколько. Я еще поживу. Отъ меня, дѣдъ, не скоро еще избавишься. Спрашиваю потому—вопросъ самъ по себѣ интересенъ.

— Интересенъ? Вотъ, когда поправишься совсѣмъ—тогда объ этомъ поговоримъ.

— Не хочешь сказать. Ну, да, ладно. До поисковъ новой любви я тебя не допущу.

Я отмахиваюсь рукой:

— Эхъ, родная, какая тамъ «новая любовь?» Слава Богу, если не издохну подъ заборомъ.

Жена неизмѣнно вѣритъ, что я выбьюсь.

Раньше, когда я падалъ духомъ, она хмурилась, теперь и этого не было—съ улыбкой убѣждала:

— Не будетъ этого. Вѣрь мнѣ: ты не изъ такихъ, которые скоро сдаются. Словомъ: мы еще поживемъ. Мнѣ всѣ доктора говорятъ, что я поправлюсь. Жаль, что не было возможности подольше побыть въ Ялтѣ. Ну, да, ничего. Около тебя я себя буду чувствовать тоже не плохо.

Помолчала. Еще свѣтлѣе лицо, еще загадочнѣе глаза—и тонъ милаго, беззаботнаго ребенка.

— Тоска безъ тебя была — страшенная. Бывало, если черезъ три дня отъ тебя письма нѣтъ, у меня повышается температура. А докторъ недоумѣваетъ: «То почти нормальная, а то опять подъ сорокъ! Отчего это, сударыня»? Я, конечно, не говорила. Докторъ человѣкъ ничего, хорошій; но я не люблю въ наше счастье пускать кого бы то либо не было, кромѣ своихъ души и сердца. Вотъ, когда созрѣю для литературы,— въ эту святыню я не побоюсь нести свои лучшія чувства!— тогда ты узнаешь, какъ я ревниво относилась ко всякому вторженію посторонних въ нашу жизнь. А любопытныхъ на это—въ особенности изъ моихъ подругъ по курсамъ,— было не мало.

Я молчу. Все—боль, боль и боль!

Она надѣется поправиться—это при такихъ-то условіяхъ?! Она мечтаетъ о литературѣ?!

Я въ эту минуту забываю, что искусство для меня тоже та святыня, куда я не побоюсь нести свои лучшія чувства; я забываю *искусство* и помню только страшное, разлагающееся *литературное болото*, которое засосало меня, успѣло засосать и жену: за полгода до своей болѣзни она написала разсказъ и послала въ «Журналъ для всѣхъ»; разсказъ приняли, но напечатанъ онъ не былъ: журналъ почему-то вскорѣ пріостановился. Но это для жены было не важно: для нее было важно то, что это ея первая вещь--и эта вещь была принята.

Молодая жизнь будетъ умирать тяжелѣе, чѣмъ, если бы не было этой иллюзіи объ этой «святынѣ».

И до такой степени я въ эту минуту страстно ненавижу литературу, что мнѣ стоитъ большого труда удержаться отъ того, чтобы не предать эту святыню анафемѣ.

Жена помолчала. Отпила глотокъ чаю. И мягко коснулась рукой моихъ волосъ:

— А ты не только по прежнему, а кажется, еще болѣе грустенъ и мраченъ.

Я отзываюсь своей обычной въ тяжелыхъ моментахъ отговоркой:

— Нѣтъ... я ничего.

— Ну, какое тамъ «ничего». Развѣ я не вижу? Недаромъ я, видно, назвала тебя «дѣдомъ». Я люблю въ тебѣ эту сѣдую скорбь, но нельзя-же такъ... постоянно! За меня не безпокойся. Мы еще, дѣдъ, поживемъ. А въ какое время ты на занятія ходишь?

Я къ этому вопросу даже не подготовлялся: какъ ни подготовляйся — онъ все равно страшенъ.

Лгать я передъ женою тоже не могъ. И, какъ всегда, когда я бывалъ въ очень трудныхъ положеніяхъ, я прикрылъ ладонью лѣвой руки свой лобъ и молчалъ, думая, какъ бы объ этомъ помягче сказать.

По рукѣ на лбу жена уже поняла, что «съ занятіями» дѣло не ладно. Но тоже свѣтлое лицо, тѣ-же глаза—только голосъ сталъ строже:

— Дѣдъ. Ни-ни... ни на одну іоту не скрывай! Знаешь, сколько я въ своей жизни выстрадала? И горькимъ опытомъ научена, что на все, чтобы не случилось, нужно имѣть мужество смотрѣть прямо. Слышишь?

Низко понурилась моя голова, когда я каялся, какому подлому и глупому человѣку я позволилъ провести себя за носъ.

— Почему ты меня объ этомъ не предупредилъ? Не телеграфировалъ? Какъ мнѣ ни непріятно было быть на иждивеніи г. М., но я предпочла бы помириться съ ней на время, пока бы ты не пріискалъ себѣ что нибудь еще.

Я всталъ, и стоялъ передъ женой пришибленный, недоумѣвающій, что, какъ такая простая мысль не пришла мнѣ своевременно въ голову.

А потомъ припомнилъ, что эта мысль явилась по полученіи письма отъ жены первой мыслью,— но настолько эта мысль была непріемлема, что я не сталъ надъ ней и задумываться.

Припомнилъ и проснулось во мнѣ то, что жило во мнѣ всегда и прорывалось по временамъ неизбѣжно и неумолимо, какъ смерть, — проснулось и заставило меня сказать больной женщинѣ жестокія и горькія слова:

— Не могъ я этого сдѣлать. Ты писала, что тобою тяготятся, что хочешь заняться уроками. До уроковъ-ли тебѣ? Такъ, чѣмъ конецъ тамъ, вдали отъ меня, на глазахъ тяготящихся тобою людей—я рѣшилъ: если ужъ гибнуть — гибнуть вмѣстѣ.

Не одинъ мускулъ не дрогнулъ на свѣтлоспокойномъ лицѣ жены, но я зналъ, что чѣмъ ни болѣе она проявляетъ въ первые моменты самообладанія, тѣмъ значитъ глубже и больнѣе ударъ.

Такъ и вышло. Покрѣпилась минуты три, а потомъ заявила:

— Все-таки я слаба еще. Когда увидѣла тебя,— казалось, что дорога для меня пустяки, а теперь вижу, что радость-то-радостью, а двухъ суточный переѣздъ тоже даетъ себя чувствовать. Пойду-ка я прилягу.

Встала и пошатнулась; я поддержалъ и довелъ до постели. И когда помогалъ ей улечься и замѣтилъ, что она очень легка, то поддался безразсудному страху: хотѣлось схватить ее на руки и держать, убѣждаясь, что жизнь въ ней не такъ скоро таетъ, какъ мнѣ кажется.

И хотѣлось говорить: «Ты должна жить. Ты не можешь не жить. Понимаешь? Ты должна жить!

Она лежала въ раздумьѣ; я это раздумье понялъ не такъ. Что то безконечно-спокойное и мудрое было въ это время на ея лицѣ, и подѣйствовало оно на меня, какъ великая тишина пустого храма, гдѣ грѣшникъ чувствоваетъ потребность покаяться,—одинъ передъ лицомъ Бога.

И тихо я началъ:

— Родная, можетъ быть, я и жестокъ; можетъ быть, для тебя было бы лучше, если бы ты не пріѣзжала. Но очень ужъ тяжела была мысль, что ты тамъ въ тягость. Прости.

Все въ томъ же раздумьѣ жена сказала:

— Ахъ, дѣдъ. Ну, къ чему это? Какъ я могу упрекать тебя? Развѣ я не взвѣсила прежде, чѣмъ связать себя съ тобой — съ кѣмъ я себя связываю? Для меня одно хорошо: какимъ ты былъ, такимъ и остаешься. Упрямый ты у меня.

Помолчала:

— А потомъ и я... все равно я тамъ долго бы не выжила. Не выношу помощи той, которая оказывается только потому, что не хватаетъ духу прямо заявить, что помогать нѣтъ никакого желанія. Ну, ихъ къ чорту съ такой помощью!

Послѣдняя фраза звучитъ рѣзко и сурово. Но черезъ минуту жена уже улыбается и, шаловливо запуская руку въ мои волосы, уже шутитъ:

— Возись-ка вотъ теперь со мною: это тебѣ въ наказанье. Доволенъ ты этимъ или нѣтъ— объ этомъ и думать не хочу. Я у тебя отдохну! Когда я жила у своихъ милыхъ знакомыхъ— Боже мой, какъ они меня мучили своимъ вниманіемъ. Не люди, а деревяшки. Иногда ребенокъ пойметъ, что я устала, что мнѣ нуженъ отдыхъ, а они допекаютъ: «не жалуйтесь потомъ, что у насъ вамъ было скучно». Тяжело жить съ не чуткими людьми.

Закрыла глаза.

— Уморили своими разговорами. Зато у тебя отдохну. Ты на слова, дѣдъ, скупъ. Это иногда хорошо. Ну, я собираюсь спать. Считай себя часа на три свободнымъ.

Я встаю, чтобы отойдти отъ постели. Не открывая глазъ, она спрашиваетъ:

— Это зачѣмъ?

— Я буду глазѣть на тебя, а это нарушаетъ сонъ.

— Пустяки! Сядь около меня и дай свою руку. Когда любимый смотритъ— сладко засыпать. Вотъ, когда ждешь его, тогда другое дѣло: сразу проснешься. Великая штука — чувства человѣка. Не отнимай руки. Такъ лучше.

Она скоро засыпаетъ. Дыханіе ровное, спокойное. Жадно я смотрю то на ея лицо, то отрываюсь

отъ него. Перемѣна къ лучшему въ теченіи болѣзни у ней настолько значительна, что и я вѣрю, что она можетъ поправиться, но... и отчаяніе, и ужасъ, и бѣшенство!

Сколько паразитовъ подло и долго проживаютъ жизнь—а вотъ для такихъ преждевременныя могилы.

И минутами мнѣ становилось жутко. Никогда у меня не было такого чувства, а тутъ... хотѣлось вѣрить въ существованіе такого Бога и взывать къ нему—къ Богу, карающему до седьмого колѣна.

Но кары такого Бога нѣтъ—а ужасъ на лицо: гибнетъ самое дорогое, то—утрату чего со всѣми ея послѣдствіями себѣ не представляешь.

«Что дѣлать?»—отъ этого вопроса у меня начинаетъ нестерпимо болѣть мозгъ.

Мнѣ кажется, что я способенъ украсть, убить— все, что угодно, но лишь бы вырвать жену изъ этой ямы; но гдѣ украсть, кого убить—на это надо случай, а его нѣтъ и ждать некогда.

Потомъ является мысль—и я хватаюсь за нее, какъ за якорь спасенія. Тихо высвобождаю свою руку изъ руки жены, присаживаюсь къ столу и пишу въ одну знакомую редакцію газеты письмо и сношу его въ почтовый ящикъ.

Жена проснулась подъ вечеръ; сонъ ее подкрѣпилъ и освѣжилъ: на щекахъ теплился легкій румянецъ, глаза стали еще болѣе непроницаемо спокойны.

Пили чай.

Чтобы не подать женѣ вида о роѣ мучившихъ меня думъ, начинаю расспрашивать ее о вынесенныхъ ею впечатлѣніяхъ изъ Крыма, а потомъ по взгляду жены понимаю, что насиловать себя—лишнее: она взглянула на меня и улыбнулась той мудрой улыбкой, которая напомнила мнѣ мою мать, когда я въ чемъ нибудь ее хотѣлъ провести. Тогда я обрываю ненужную болтовню и ближе придвигаюсь къ креслу жены.

Она помолчала—и внушительно:

— Ну, вотъ, такъ-то лучше. И смотри у меня: не мучай себя. Что такое этотъ подвалъ? Неужели изъ него не вырвемся? Придвинься ко мнѣ еще ближе. Не бойся—такія вещи боли непричиняютъ.

Я придвигаюсь вплотную.

— Вотъ такъ хорошо? Что подвалъ, когда мы имѣемъ то, чего нѣтъ въ иныхъ палатахъ. Развѣ наше счастье не стоитъ того, чтобы мы за него боролись?

Съ сознаніемъ, что съ тѣхъ поръ, какъ эта больная теперь женщина, встрѣтилась мнѣ на моемъ пути, она во всѣ трудныя минуты была для меня той неизсякаемой силой, которая безъ устали поднимала меня, когда я падалъ, поднимала и все шире и шире открывала міръ, куда бы я безъ нее не заглянулъ—я долгимъ поцѣлуемъ приникъ къ ея рукѣ съ тѣмъ благоговѣйнымъ трепетомъ, который выплылъ изъ ранняго

дѣтства: привела меня мать въ храмъ ко всенощной и, когда всенощная кончилась, указала мнѣ на темный и скорбный ликъ въ золотой ризѣ и строго сказала: «Приложись».

У жены милое въ охватившемъ ее смущеніи лицо; не часто я цѣловалъ у нея руку—и всегда она протестовала:

— Не надо цѣловать рукъ. Не надо. Мнѣ право... какъ то отъ этого совѣстно.

Говоритъ это она и теперь. Я упрекаю ее, что она неисправима и, съ улыбкой разсказываю, каково было ея лицо, послѣ перваго моего покушенія на ея губы.

Ея лицо точно вдругъ на нѣсколько лѣтъ старѣетъ и, строго она проситъ:

— Не смѣйся надъ этимъ. Знаешь, сколько я видѣла до жизни съ тобой холода, звѣриной—хуже!—жестокости и злобы отъ людей? И мнѣ неудивительно, что у меня иногда является мысль, когда ты не со мною, боязнь, что наше счастье—сонъ. Закроешь глаза и страшно ихъ открыть: а вдругъ ничего этого не было?

«Наше счастье?»

Я вздрагиваю; меня пронизываетъ жесточайшее чувство раскаянія и стыда, что я загубилъ эту жизнь, что есть еще возможность спасти ее—но спасу-ли?

И внезапно, почти грубо, я отодвигаюсь отъ жены и поспѣшно предлагаю:

— Хочешь, я что нибудь почитаю? У меня есть новинки? Андреевъ...

Спокойнымъ жестомъ жена обрываетъ меня и проситъ сѣсть опять рядомъ.

— Ахъ, дѣдъ, дѣдъ, вѣдь, ты хорошо понимаешь, что теперь намъ не до новинокъ. Развѣ намъ теперь важно знать, что вновь написалъ Андреевъ? Развѣ онъ намъ скажетъ хоть объ одной тысячной того, что мы сейчасъ переживаемъ? Ты забываешь, что я тебя четыре мѣсяца не видала, не чувствовала, что ты около меня,—вотъ такъ, какъ теперь? Однажды ты мнѣ сказалъ, что главная книга, на которой человѣкъ долженъ учиться—это Евангеліе! Вѣрно! Но есть и еще книга,—тоже глубочайшая и интереснѣйшая, въ которой все: и повѣсть, и романъ, и комедія и трагедія—это человѣкъ, умѣющій въ себѣ читать все, что внутри его записала и пишетъ жизнь. Будемъ, дѣдъ, молчать и читать себя. Лучше этого намъ никто сейчасъ ничего не скажетъ.

У меня накипаютъ слезы и... вдругъ проходятъ. Такъ велико счастье чувствовать около себя эту больную женщину, что я забываю, что сегодня днемъ меня порывало женѣ говорить, что она «должна жить... не можетъ не жить»— забываю и говорю:

— Вся бѣда, всѣ муки человѣка въ томъ, что онъ на счастье слишкомъ жаденъ.

И я сознаюсь женѣ, что и раньше это чувство бывало, появилось оно и теперь: умереть бы намъ въ это время вмѣстѣ? а.

Она подтвердила кивкомъ головы.

И, такъ, прижавшись другъ къ другу, боясь малѣйшимъ движеніемъ нарушить это очарованіе, мы сидимъ долго, сидимъ выше жизни, выше смерти, сидимъ совершенно забывая о томъ, «*гдѣ мы?*» сидимъ не чувствуя, какъ каждый кирпичъ подвала неустанно точитъ на насъ холодъ уничтоженія.

Поздно. Жена утомилась. Пора спать. Мы встали и взгляды наши встрѣтились—и головы поникли: «Мы люди. Мы слишкомъ жадны: мы моментами выше жизни, выше смерти но моментами—пройдутъ они и мы—*ниже счастья!*»

Жена скоро заснула, я долго не спалъ, думая все объ одномъ и томъ же: неужели этотъ подвалъ для жены будетъ предверіемъ *въ могилу?*

Черезъ день въ газетѣ появилось то, что мнѣ было нужно. Жена была еще въ постели. Пришлось пережить мучительный моментъ: показать ей это или скрыть? Очень хотѣлось скрыть, но являлось опасеніе, что скрыть отъ жены вообще что либо—трудно; во-вторыхъ, если она узнаетъ, то не хуже ли будетъ отъ того, что она къ этому не была подготовлена?

Рѣшаю, что скрывать—хуже; подаю женѣ газету, указываю ей на нужное мѣсто и говорю:

— Вотъ, прочти. Можетъ быть, это дастъ намъ возможность выйти изъ труднаго положенія.

Въ отдѣлѣ «Вниманію добрыхъ людей» было напечатано:

«Отъ одного молодого литератора, лично редакціи извѣстнаго *), мы получили письмо, изъ котораго и приводимъ нѣкоторыя выдержки. Литераторъ пишетъ: Обитаю въ подвалѣ; сыро, холодно, темно. Если бы я въ немъ былъ одинъ—это бы не важно: пріѣхала жена—у ней туберкулезъ легкихъ. Слаба она до крайней степени. Подвальное помѣщеніе, помимо тяжелаго физическаго воздѣйствія, очень угнетающе вліяетъ и на ея психику. За послѣдніе четыре мѣсяца я искалъ вездѣ какого нибудь дѣла, мѣста—(не исключая и административныхъ учрежденій)—и всюду безрезультатно. Усталъ отъ такой жизни».

Дальше редакція поясняла, что авторъ письма тоже боленъ хроническимъ ревматизмомъ и приглашала добрыхъ людей къ пожертвованіямъ и предложеніямъ труда.

*) Въ этой редакціи я немного сотрудничалъ. Объ этомъ рѣчь будетъ впереди.

Когда жена читала эти горькія строки, я видѣлъ, какъ ея блѣдныя щеки вспыхнули краской.

Прочла, и, послѣ довольно долгаго молчанія, сказала:

— Представляю себѣ то твое состояніе, при которомъ ты рѣшился на такую просьбу. Но не лучше ли тебѣ было бы обратиться къ знакомымъ литераторамъ? Вѣдь, у тебя все таки не мало изъ нихъ знакомыхъ.

Я отмахиваюсь рукой и говорю, что знакомыхъ то изъ литераторовъ у меня, вѣрно, не мало; но изъ всѣхъ этихъ знакомыхъ я въ силахъ пойти только къ двоимъ, а эти двое какъ разъ люди не очень состоятельные и дать намъ серьезную поддержку не могутъ.

А остальные:

— Къ нимъ приди просить помощи—они будутъ кормить поученіями. Литераторы изъ тѣхъ, которые любятъ слово «нужда» только тогда, когда имъ это слово приходиться склонять во всѣхъ числахъ и падежахъ на бумагѣ.

Первыя слова «о литераторахъ» я произнесъ спокойно, съ легкой ироніей, но потомъ—всколыхнулась застарѣлая боль, глаза помутнѣли.

И должно быть, я былъ очень страшенъ: газетный листъ выпадаетъ изъ рукъ жены, она беретъ меня за плечо и начиная трясти, испуганно проситъ:

— Дѣдъ, прости! Такая я теперь неосторожная, забывчивая. Прости.

Я съ усилiемъ перевожу на нее глаза, точно просыпаюсь отъ тяжкаго сна:

— Простить? Въ чемъ?

— Я даю тебѣ слово больше не касаться до твоихъ больныхъ мѣстъ. Не надо такихъ глазъ... Я боюсь... такъ можно сойти съ ума. Слышишь?

Я хочу уяснить себѣ, что мнѣ сказано—и не могу. И молчу.

— Что же ты молчишь?

Я недоумѣваю:

— О чемъ мнѣ говорить?

— О чемъ? Негодуй, злись, кричи, когда тебѣ очень больно—но не молчи.

Я, наконецъ, жену понимаю и, слабо улыбаясь, говорю, чтобы она не безпокоилась:

— Это ничего. Развѣ это впервые? Но довольно объ этомъ. Дѣло не во мнѣ. Дѣло въ томъ, чтобы поскорѣе отсюда выбраться. Вѣдь, такъ?

— Конечно. Но не надо такихъ глазъ. Ну, ихъ всѣхъ къ чорту!

Тонъ у жены энергиченъ, но ни злобы въ немъ, ни ненависти—какой то дѣтскiй задоръ до того, что я опять улыбаюсь, вполнѣ овладѣваю собой и замѣчаю, что проявленное больной возбужденiе обезсилило ее совсѣмъ.

Я укладываю жену въ постель—и въ это время у меня является мысль, которая мнѣ кажется очень большой и соблазнительной; и прикрывая эту мысль шуточнымъ тономъ я высказываюсь:

— Настоящiй ты у меня «Атаманъ-буря». Разбойничаешь страшно храбро. Скверно, родная, одно: ты болѣешь—я нѣтъ. Хорошо бы, если и я былъ бы боленъ тѣмъ же, чѣмъ и ты: щеголяли бы тогда одинъ передъ другимъ примѣрами мужества...

Остро жена глядитъ на меня:

— Дѣдъ, это значитъ быть побѣдителями? Посмѣяться послѣдними? Да?

Я ей смотрю тоже прямо въ глаза:

— Хотя бы и такъ.

Она смѣется и начинаетъ весело, вызывающе:

„Не стая вороновъ слеталась
На груды тлѣющихъ костей
За Волгой шайка собиралась...

Потомъ вдругъ обрывается; хватаетъ меня за руку и, сжимая съ судорожной силою, страстно бросаетъ:

— Смерть не страшна, но и жить безумно хочется. Я не могу себѣ представить, какъ ты останешься одинъ—безъ меня. Если бы я была здорова, чего мы съ тобой вдвоемъ не преодолѣли бы? О, черти...

Я вижу, какъ сквозь плотно сомкнутыя вѣки жены пробиваются слезы и вернувшееся было ко мнѣ самообладанiе, вновь покидаетъ меня.

Въ тоскѣ и бѣшенствѣ, съ заломленными отъ безсилья за затылокъ руками, я стою нѣсколько секундъ передъ постелью, не видя ни жены, ни постели: всѣхъ видѣлъ, кто только содѣйствовалъ моей гибели и гибели жены.

Потомъ одѣваюсь и выхожу изъ дому. Черезъ пять минутъ я въ редакціи. Меня встрѣчаетъ завѣдующій съ непокорнымъ вихромъ волосъ:

— А, здравствуйте. Чѣмъ могу служить?

— Вы ничѣмъ. Мнѣ нуженъ издатель. Когда онъ здѣсь бываетъ?

— Онъ уже уѣхалъ. Но я знаю въ чемъ у васъ дѣло къ нему...

—Вы?!—и я широко открываю глаза.

— Да, да, я. Вышло это совершенно случайно: издатель прочелъ ваше письмо и бросилъ на мой столъ, а я думалъ, что это какое-нибудь дѣловое письмо, относящееся ко мнѣ и тоже прочелъ. Какъ видите: неделикатность не моя.

И подаетъ мнѣ письмо и письмо жены; я смотрю на эти письма и, совершенно растерянно спрашиваю:

— Но позвольте. Зачѣмъ же къ вамъ на столъ? Можетъ быть, онъ поручилъ вамъ отвѣтить мнѣ?

Въ тонѣ завѣдуюшаго злорадная усмѣшка:

— Нѣтъ. Къ чему же отвѣчать: къ дѣламъ редакціи ваше письмо не относится. Просто: прочелъ издатель ваше письмо и бросилъ.

Я ошеломленъ. Тупо стою на одномъ мѣстѣ и думаю, что мое письмо это еще туда-сюда, но письмо жены... Такъ больна была одна мысль отдать ея письмо въ незнакомыя руки—и вотъ... Кто это дѣлаетъ? Лицо, издающее журналъ, терпящее на изданіи до ста тысячъ въ годъ убытка... Какой же долженъ быть негодяй? *) Бросить письма, письма, гдѣ съ первыхъ строкъ видать, что это письма интеллигентныхъ людей, бросить на виду у всѣхъ... подходи, кому угодно, бери грязными руками и безъ боязни залѣзай въ ужасъ двухъ гибнущихъ, загнанныхъ душъ?!

Я ошеломленъ. Тупо стою на одномъ мѣстѣ и, наконецъ, вижу, что въ редакціи, кромѣ завѣдующаго, еще двое лицъ, наблюдающихъ за мной съ любопытствомъ.

Тогда я ухожу изъ этой редакціи.

Иду. Куда?—Этого не знаю. Но чувство знаетъ дорогу и, когда оно меня останавливаетъ около одного дома—я отдаю себѣ отчетъ въ томъ, зачѣмъ я пришелъ сюда, что мнѣ надо.

Медленно я поднимаюсь на четвертый этажъ,

*) Раньше, широкія «купецкія» натуры били въ ресторанахъ зеркала—платили за убытки и считали, что дѣло покончено. Теперь не то. Это лицо тоже бьетъ въ ресторанахъ зеркала, (традиціи то крѣпки!) а потомъ заявляетъ «Какъ культурный человѣкъ считаю своимъ нравственнымъ долгомъ—извиниться». Культуренъ—а зеркалъ не бить не можетъ!

звоню, мнѣ отпираетъ дверь, какъ разъ тотъ, кого меня потянуло видѣть.

Пока я снимаю пальто и калоши, З. стоитъ въ двухъ шагахъ отъ меня—въ своей обычной при такихъ случаяхъ позѣ: голова немного наклонена впередъ.

Много въ этомъ наклонѣ головы не простой вѣжливости, не обычнаго приличія—а настоящаго радушія, сердечной теплоты.

Я начинаю любить этого человѣка нѣжно и мучительно. Уже не разъ битый, оплеванный въ своихъ привязанностяхъ—я боюсь и за это чувство: а не ждетъ ли меня и здѣсь горькая ошибка? Вѣдь, разу отъ разу за нихъ расплачиваешься все больнѣе.

Мы идемъ въ кабинетъ. Я сбоку смотрю на З. и думаю: «Милый. Все такой же неизмѣнный, какъ и въ первый день знакомства».

Садимся. Закуриваемъ. Взгляды наши встрѣчаются.

Люблю я наблюдать за лицомъ З.: глубокое и мягкое раздумье полей, когда съ нихъ сняты посѣвы, чудилось мнѣ въ его лицѣ.

— Ну, какъ живете?—спрашиваетъ З., а потомъ спохватывается:—Да, а какъ насчетъ того мѣста, куда я вамъ давалъ письмо?

У меня чувство: больно огорчать этого человѣка. Хотѣлось бы чѣмъ нибудь его порадовать; но порадовать нечѣмъ,—и тономъ, даже съ легкой улыбкой, точно не полученіе этого мѣ-

ста для меня большого значенія не имѣетъ, я передаю ему, какъ провелъ меня завѣдующій редакціей.

Помолчали.

— Но этого мало,—добавляю я и передаю З. свое письмо и письмо жены:—прочтите эти письма.

З. читаетъ. Прежде мое, потомъ жены; на лицѣ отражается содержаніе писемъ. Помолчалъ и спросилъ:

— Да. Ну, и что же?

Я утыкаюсь взглядомъ въ уголъ кабинета и передаю исторію съ этими письмами.

Я кончилъ. Лицо З. темнѣетъ. Мы долго молчимъ, боимся взглянуть другъ на друга: обоимъ намъ и стыдно и больно, что въ мірѣ живетъ такая мерзость!

Потомъ З. минутъ на пять уходитъ изъ кабинета:

— Простите, я на минуточку.

Это тоже умѣстно. Я смотрю ему вслѣдъ и думаю: сколько разъ я приходилъ къ нему въ гнѣвѣ, въ злобѣ, въ отчаяніи—не на него, а на другихъ—и никогда не высказывался такъ рѣзко, какъ бы высказался въ другомъ мѣстѣ? Иногда даже больше: приду и ничего не скажу. Стоитъ мнѣ увидѣть его лицо, побыть двѣ три минуты въ тишинѣ его кабинета—и все мое горькое уходитъ въ ту глубину той тихой, молчаливой скорби, которую, можетъ быть, можно

выразить только въ музыкѣ, но не звукомъ человѣческихъ словъ—они грубы для этого.

З. возвращается. Что-то тихое, кроткое пришло въ душу, пока его не было, тихое и кроткое, какъ тишина лѣтнихъ ночей—и чтобы неспугнуть этого настроенія дальнѣйшей бесѣдой о моихъ дѣлахъ—тяжкихъ, безрадостныхъ,—я встаю и протягиваю руку.

З. наклоняетъ голову:

— Уже уходите?

— Да, тамъ ждетъ жена.

Тихо бреду я домой. Мысли мои заняты З. Я не жду отъ этого человѣка ничего, что могло бы меня вывести изъ полосы гибели; лично онъ человѣкъ далеко необезпеченный и, въ крайнихъ случаяхъ къ нему можно придти за помощью въ десять-пятнадцать рублей—не больше; оказать поддержку черезъ другихъ—это тоже не его сфера: попросить—попроситъ, но черезъ чуръ мягко, деликатно—но часто ли въ наше время добьешься помощи такими средствами?

Жесткими и сильными словами нужно будить совѣсть современнаго человѣка—для мягкихъ и деликатныхъ словъ онъ слишкомъ огрубѣлъ.

Тихо я бреду домой отъ З. Много мыслей у меня вызываетъ этотъ человѣкъ,—и за, и противъ,—но въ главномъ я ему вѣренъ: онъ не чуждается отъ загнанныхъ жизнью, и если я не

погибну, я убѣжденъ, что онъ искренно за меня порадуется.

А это уже—человѣкъ—и въ наше время—рѣдкій человѣкъ! Въ моей душѣ—чувство большой, покорной усталости: не будь жены—въ такія минуты можешь уйти изъ жизни. Но вотъ домъ, гдѣ живу. Вонъ тотъ домъ—та редакція, гдѣ я былъ два часа тому назадъ. И нѣсколько минутъ я смотрю на эту редакцію.

«Сейчасъ я встрѣчу жену. Что ждетъ ее? Гибель. Въ силахъ ли я простить эту утрату? Или забыть... ея письмо, брошенное негодяемъ въ людномъ мѣстѣ на показъ всѣмъ желающимъ?»

Сжимались кулаки. Сжимались до боли зубы и подавленно рокоталъ гнѣвъ...

Наконецъ, я вбираюсь въ свое жилье. Въ проклятой ямѣ уже темно. Жена отъ холода прячется въ постели. Зажигаю огонь и вижу: до страха давитъ ее обстановка. Мой приходъ ее подбадриваетъ:

— Дѣдъ, такъ долго? Гдѣ это пропадалъ.

Я лгу, что ходилъ узнавать на счетъ разсказовъ; на счетъ писемъ—ни слова.

Падаетъ манна съ неба: изъ редакціи является посыльный и вручаетъ мнѣ подъ росписку 15 рублей, добавляя:

— Это вамъ пожертвованія.

Посыльный уходитъ.

— Сколько?—спрашиваетъ жена.

Я передаю ей молча «присылку» и руки мои дрожатъ отъ рода помощи: общественный нищій! Жена смотритъ на меня, потомъ на деньги и, вновь вопросъ:

— А сколько у насъ капиталовъ оставалось?

— Рубль съ копѣйками.

— Чего-жъ ты хмуришься? Значитъ, кстати. Помолчала.

— Вотъ что, дѣдъ. Я понимаю твою боль: тяжело просить помощи у читателя, а не у писателя. Но примирись же ты, наконецъ, съ тѣмъ, что когда эти писатели говорятъ начинающему о его дарованіи—это одно, а поддержать начинающаго, не дать ему опуститься до тяжелой обстановки—это другое... Я знаю: большинство изъ этихъ господъ ты презираешь, но почему ты не можешь допустить, что и я тоже могу презирать?

Засмѣялась:

— Подумай хорошенько: намъ при нашемъ положеніи или нужно мириться со всѣмъ, или... давай вмѣстѣ повѣсимся?

Я улыбаюсь и цѣлую руку жены. Гордая и злая сила просыпается во мнѣ:

— Ну, на это то я пока не согласенъ.

— Не хочешь? Я тоже не хочу. Такъ чего же голову вѣшать? Ахъ, дѣдъ. Знаю я твою жизнь, ты знаешь мою. Мы, если хорошенько разобраться, въ сущности, всегда вѣдь въ жизни играли «ва—банкъ!» Будемъ продолжать въ

этомъ же родѣ. Прежде всего нужно выбраться отсюда: ради этого дѣйствуй такъ, какъ заблагоразсудишь. Ну, вотъ и все. Какъ это говорится: вотъ тебѣ мое сказанье и лѣтопись окончена моя... Такъ что ли? Я теперь страшно забывчива. Давай, дѣдъ, мнѣ чаю. Вѣрно ли я сказала на счетъ нашихъ дѣлъ? а?

Я вновь тянусь къ рукѣ жены, но она прячетъ ее подъ одѣяло:

— За какія особенныя заслуги? Назвалась груздемъ—полѣзай въ кузовъ. Давай чаю!

Пьемъ чай. Болтаемъ, вспоминая старину: ту, когда я еще не совалъ носа въ литературу, а только думалъ объ этомъ.

Послѣ чаю жена укладывается въ постель,—а я сижу и пишу, увеличивая груду черныхъ, злосчастныхъ листовъ.

Потомъ устаю отъ нихъ и думаю.

Присланные деньги породили маленькую надежду. Соображаю, что сегодня только еще первый день, а пожертвованія уже есть. И съ чувствомъ, что, если мнѣ дадутъ возможность поднять на ноги жену, я всѣ свои мытарства предамъ забвенію—съ такимъ чувствомъ я ложусь спать.

На другой день я ѣду въ контору редакціи и покупаю десятокъ тѣхъ № газеты, гдѣ я и жена фигурируемъ въ отдѣлѣ «Вниманію добрыхъ людей».

Когда то, когда жена билась въ Крыму на 25 рубляхъ въ мѣсяцъ, одна дама изъ буржуазнаго міра сдѣлала попытку увѣрить меня, что изъ богатыхъ людей — очень много *очень* добрыхъ людей.

Я сомнѣвался.

— Напрасно. Вообще, вы слишкомъ предубѣждены противъ имущихъ классовъ!

Что «слишкомъ»—я не соглашался и съ этимъ.

Она захотѣла меня побѣдить:

— Хотите, я вамъ дамъ адреса нѣсколькихъ богатыхъ людей? И вотъ, напишите имъ о своемъ бѣдственномъ положеніи и о положеніи своей жены—и я увѣрена, что спасутъ и васъ и вашу жену. Не нужно такъ безнадежно смотрѣть на богатыхъ. Они часто не дѣлаютъ того, что могли бы сдѣлать только потому, что не знаютъ, гдѣ истинная нужда.

Я взялъ у этой дамы адреса--но написать о своей нуждѣ ни одному лицу такъ и не рѣшился.

Теперь... я за эти адреса ухватился. Съ утра уже начало грызть сомнѣніе: а если ничего—ни денегъ, ни мѣста?

Потомъ, многіе изъ богатыхъ людей вѣдь не всѣ газеты читаютъ: ту газету, въ которой я взываю о помощи, многіе и въ рукахъ не видятъ.

Я вырѣзаю изъ «горькаго» для меня № отдѣлъ «Вниманію добрыхъ людей» и даю еще приписки: «если у васъ явится сомнѣніе въ правдивости того, что я писалъ въ газетѣ о своемъ

положеніи и о положеніи своей больной жены—прошу убѣдиться лично».

Затѣмъ давалъ адресъ свой и вкладывалъ въ конверты эту приписку вмѣстѣ съ вырѣзкой.

Девять писемъ—все къ милліонерамъ, къ прославленнымъ благотворителямъ!

Заклеилъ конверты. Наклеилъ марки. На минуту нерѣшительность: отъ представленія того, что переживетъ жена, когда явятся благотворители, чтобы «убѣдиться лично»—закружилась голова, потемнѣло въ глазахъ.

Но припомнилъ, какъ она спитъ: только я, да холодная, сырая тишина подвала слышимъ въ ея дыханіи хрипы и сухой, колючій трескъ.

Припомнилъ, взялъ письма и понесъ ихъ въ почтовый ящикъ: сгорбившійся, съ поникшей головою.

Прошло четыре дня.

Изъ редакціи—ничего; благотворители—напрасно и этого, значитъ, боялся!—никто не являлся.

Я вновь пишу въ редакцію письмо съ просьбой повторить.

Редакція на другой день повторяетъ:

> «Въ № 64 нашей газеты мы помѣстили выдержки изъ письма молодого литератора, обрѣтающагося въ крайней нуждѣ. Откликъ на наше обращеніе былъ

такъ слабъ, что литератору до сихъ поръ не удалось выбраться изъ сырого подвала, гдѣ ютится онъ съ больной женою. Редакція еще разъ напоминаетъ о его тяжелой нуждѣ и проситъ всѣ предложенія труда и денежныя пожертвованія направлять въ контору нашей газеты*).

Я одинъ: жена въ больницѣ. Болѣе двухъ недѣль я не занесъ въ свои записки ни одной строки—была даже надежда, что больше и не занесешь. Но нѣтъ,—запискамъ еще не конецъ. Я одинъ и мнѣ больше нечего дѣлать, какъ продолжать этотъ апоѳеозъ «униженныхъ и оскорбленныхъ»!

Къ женѣ вновь вернулись угрожающіе симптомы: жаръ и испарины.

То, отсутствіе чего и меня и ее такъ радовало.

— Дѣдъ, вѣдь, это же самый лучшій признакъ того, что организмъ начинаетъ брать верхъ надъ болѣзнью. Когда у меня въ Ялтѣ начала

*) Но и это повтореніе не помогло. Тиражъ этой газеты стоялъ на высотѣ до ста тысячъ!

Развѣ не чудовищное время?!

понижаться температура и исчезать испарины, докторъ заявилъ: «Поздравляю. Для меня теперь несомнѣнно: вы выдюжите!»

Эти явленія заставили меня метнуться въ клиники и получить отказъ: «Рождество на носу. Пріемъ больныхъ прекращенъ; да и послѣ праздниковъ сомнительно: клиники переполнены»

Когда я сообщилъ объ этомъ женѣ—она печально улыбнулась:

— До Рождества еще двѣ съ лишнимъ недѣли. Охъ, люди!

И отвернулась лицомъ къ стѣнѣ.

Не вѣря ни въ кого—я дѣйствую на два лагеря. Пишу драматургу Ю. о своемъ положеніи и прошу помочь въ устройствѣ жены въ клиники какъ можно поскорѣе.

Въ это время у меня въ цензурѣ была пьеса, куда я отправилъ ее по его совѣту.

Потомъ иду къ редактору журнала А. Когда то на этого человѣка я засматривался; а въ первую встрѣчу онъ меня даже поразилъ.

Мягко вибрирующій голосъ; фигура стройна, манеры, жесты—подкупающе изящны.

Думалось, что этотъ питомецъ культуры не только внѣшне выхоленъ ею, но и одухотворенъ. Но узналъ я этого питомца поближе и началъ надъ нимъ задумываться, а потомъ далъ себѣ слово къ нему не ходить.

Однако пришлось.

Разсказалъ я ему въ какомъ положеніи нахожусь съ женой и попросилъ:

— Не можете-ли вы мнѣ устроить ее въ клиники? Вамъ профессоръ (имя рекъ) знакомъ.

А. слегка пожалъ плечами; выраженіе изящно-милой готовности на лицѣ подернулось дымкой скуки и досады.

— Наврядъ-ли я тутъ буду вамъ полезенъ. Почему вы не отнесетесь съ этой просьбой къ Ю. Онъ очень вліятельный человѣкъ. Ему это не составитъ никакого труда.

Я молча махнулъ рукой.

Молчаніе. То, когда люди начинаютъ чувствовать себя неловко.

А. не выдержалъ и заговорилъ:

— Въ чемъ могу быть полезенъ — это, когда принесете разсказъ. Если вещь подойдетъ — я возьму отъ васъ съ удовольствіемъ.

Я напомнилъ ему, что мой разсказъ у него имѣется—тотъ, который ему передалъ писатель З.

— Какъ же, я помню. Но все время былъ занятъ и не успѣлъ его просмотрѣть. Сдѣлаю это сегодня, или завтра.

Слабая, блѣдная надежда вспыхиваетъ во мнѣ: можетъ быть возьметъ этотъ разсказъ и дастъ авансъ!

И тономъ—тѣмъ покорнымъ и печальнымъ тономъ, когда человѣкъ совершенно раздавленъ,— я начинаю его просить:

— Ю. И. я васъ предупреждаю, что разсказъ у васъ — это черновикъ. Мнѣ больно таскать на просмотръ редакціямъ необработанныя вещи, но давитъ нужда, давитъ ужасъ... Вотъ жена... Поймите мое отчаяніе, когда я вижу, какъ она гибнетъ въ сыромъ и холодномъ подвалѣ. Поймите...

У меня никнетъ голова.

— *Бога ради,* (впервые въ жизни я произнесъ эти слова) Ю. И., если разсказъ окажется съ дефектами, но не съ такими, когда весь разсказъ не годенъ, а съ такими, когда они поправимы— Бога ради, не поддержите-ли вы меня такъ: я выправлю вещь по вашимъ указаніямъ, а вы мнѣ дадите подъ нее не большой авансъ. Не большой. Рублей въ 25—30. Главное у меня— это вырвать больную жену изъ подвала.

А. помолчалъ и неопредѣленно отозвался:

— Посмотрю.

Потомъ спохватился:

— Ахъ, да. Вашъ разсказъ ко мнѣ принесъ З. Я, собственно, не понимаю: почему вамъ непремѣнно нужно посредство З?.. Мы съ вами давно уже знакомы и, думаю, что надобности въ посредникахъ у насъ не имѣется.

Въ голосѣ А. звучало явное неудовольствіе, которое заставило меня задуматься: почему ему это не понравилось?

Какъ критикъ — А. большой поклонникъ таланта З.; и никто, пожалуй, болѣе не содѣйст-

вовалъ извѣстности З., чѣмъ А.: онъ первый заговорилъ о З., какъ о «восходящей звѣздѣ».

У меня мелькнула догадка: отказать въ не пріемѣ вещи начинающему—легко, но отказать писателю съ именемъ, который къ тому же вещь читалъ и нашелъ, что ее должны принять—гораздо труднѣе. И не отсюда-ли это неудовольствіе?

И чтобы провѣрить эту догадку — я прямо смотрю въ лицо А. и заявляю:

— Что разсказъ переданъ вамъ З. — это не мое желаніе, а настойчивое желаніе его. Откровенно сознаюсь: я почему-то всегда думаю, что никогда вы изъ моихъ разсказовъ ничего не возьмете.

А. вынужденно улыбнулся;

— Почему такъ думаете?

— Не знаю самъ,—и я невольно и печально улыбнулся:—Чувствую такъ.

— Но однако же этотъ разсказъ рѣшились отдать на просмотръ мнѣ?

— Рѣшился, но по настоянію З.: онъ увѣрялъ меня, что вы этотъ разсказъ возьмете.

А. ничего на это не сказалъ и отвернулся въ сторону. Въ этотъ моментъ умерла моя слабая, блѣдная надежда—мнѣ почудилось, что такимъ культурнымъ питомцамъ такіе люди, какъ я, тяжелы. Сытыхъ, красивыхъ, обезпеченныхъ людей имъ нужно видѣть, а не тѣхъ, кто, то проситъ о скоромъ просмотрѣ рукописи, то о какомъ

нибудь мѣстѣ *), то напоминаетъ о какихъ то холодныхъ и сырыхъ подвалахъ, гдѣ умираетъ больная женщина.

Словомъ, напоминаетъ всегда о непріятномъ, о томъ, гдѣ, пожалуй, иногда неловко чувствовать себя такимъ изящнымъ и красивымъ.

Я поспѣшилъ съ А. проститься. Не хотѣлось ему подавать своей руки, ибо думалось, что послѣ моего ухода, онъ вѣроятно оботретъ свою руку платкомъ, а можетъ быть, и пойдетъ мыть руки: вѣдь, человѣкъ живетъ гдѣ-то въ подвалѣ—въ гнѣздѣ всевозможныхъ микробовъ!

Я поспѣшилъ съ А. проститься и... замѣтилъ, что у него вырвался вздохъ облегченія. Было ясно, какъ Божій день, что твое сѣрое, истощенное, нервное лицо, твои глаза, то смертельно тусклые, то съ голодно лихорадочнымъ блескомъ—это не защита твоя, а оружіе противъ тебя: тебя будутъ добивать только за то, что твой видъ непріятенъ.

Когда я вернулся домой—жена встрѣтила меня нѣмымъ вопросомъ.

Но что я могъ ей сказать?

Она поняла и отвернулась лицомъ къ стѣнѣ. Я, разбитый, прилегъ на свою кушетку.

---

*) Объ этомъ я просилъ г. А. два раза—и оба раза, какъ *культурный человѣкъ* онъ отказывалъ мнѣ мягко, съ пожатіемъ плечъ: въ этомъ не могу помочь!

На другой день утромъ въ десятомъ часу г. А. прислалъ мнѣ со своей прислугой мой разсказъ.

Я сразу понялъ изъ какого источника эта любезность: эстету, культурному человѣку не подъ силу показалось видѣть меня еще разъ.

При разсказѣ было письмо. Прислуга стоитъ и ждетъ:

— Баринъ просили отвѣта.

Я разрываю конвертъ, вынимаю письмо, потомъ еще нѣчто, что заставляетъ меня бросить испуганный взглядъ на жену: къ моему счастью она лежитъ въ постели завернувшись отъ холода въ одѣяло съ головой; тогда я это «нѣчто» зажимаю въ рукѣ, быстро, не разбирая письма, пробѣгаю его и говорю прислугѣ:

— Передайте барину, что я его благодарю.

Она уходитъ. Жена, не открывая изъ подъ одѣяла головы, спросила:

— Это отъ кого и что?

Я поясняю, что это разсказъ, присланный изъ редакціи одного журнала.

— Значитъ, не приняли?

— Не приняли, родная.

— Плохо, дѣдъ. Хотя очень любезно: вотъ никогда не ожидала, что редакторы способны со своей прислугой присылать на домъ непринятыя вещи. А письменный отвѣтъ—почему разсказъ не принятъ?—каковъ?

Я говорю, что письменнаго отвѣта нѣтъ.

Жена на минуту открываетъ изъ подъ одѣяла голову:

— Какъ нѣтъ? Должны же они выяснять мотивы отказа?

Я лгу, что мотивы отказа мнѣ были извѣстны раньше.

— Когда?

— Вчера.

— Что же ты мнѣ объ этомъ не сказалъ?

— Что говорить? Радостнаго въ этомъ мало.

— Тогда почему же ты не взялъ разсказа вчера?

Опять лгу:

— Разсказа не было въ редакціи. Онъ былъ у редактора на дому, вотъ онъ мнѣ его сегодня и прислалъ.

Жена вновь скрываетъ голову подъ одѣяло.

— Такъ. Хотя и это хорошо. Жалѣютъ тебя, дѣдъ. Лишній разъ не ходить.

Тонъ у жены мило-добродушный. Отъ ея словъ, что меня «жалѣютъ», что «и это хорошо», меня сжало какъ отъ непереносимой физической боли.

Украдкой, какъ будто бы заглядываю въ свой разсказъ, я читаю письмо А.

Содержаніе таково:

«М. Г.

Мнѣ тяжело и на этотъ разъ разочаровывать васъ. При всѣхъ достоинствахъ разсказа, я долженъ все-таки признать,

что это—*не литература*. Я чувствую, что это горькая натура, изображена трогательно: ни на одну минуту не сомнѣваешься въ томъ, что это не пережито авторомъ. Но взять его не могу по двумъ причинамъ: разсказъ скорѣе матеріалъ для художественнаго разсказа, а потомъ въ немъ слишкомъ много болѣзней: воспаленіе легкихъ, рахитъ, чахотка... Что-то клиническое, болѣе идущее къ спеціальному журналу. Но повторяю: достоинства разсказа такъ значительны, что я надѣюсь, что вы когда нибудь напишите вещь, которая будетъ напечатана на страницахъ нашего журнала.

PS. Надѣюсь, не обидитесь. Примите, когда нибудь сочтемся».

Я разжимаю руку и смотрю на трехрублевку: это за «горькую натуру!» За тотъ ужасъ, въ которомъ *мы ни на минуту не сомнѣваемся въ томъ, что онъ пережитъ авторомъ*, за еще большій ужасъ, о которомъ вотъ только вчера говорилъ авторъ, гдѣ окончательно задыхаются онъ и его жена, гдѣ сломлена гордость и говорятся слова «Бога ради»—всѣмъ этимъ мы тронуты ровно настолько, чтобы кинуть подачку въ три рубля и наговорить погибающимъ сладенькихъ, гнусно-тепленькихъ утѣшеній и обѣщаній!

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ: можетъ быть, совсѣмъ не тронуты, а кидаемъ подачку и присылаемъ рукопись на домъ лишь потому, чтобы не вызывать у себя непріятныхъ чувствъ видомъ «несчастненькаго», когда онъ придетъ за отвѣтомъ? Такъ не лучше ли своевременно откупиться?

Можетъ быть! Свое спокойствіе дороже трехъ рублей.

Я смотрю на трехрублевку и выжидаю: какой порывъ изъ двухъ возьметъ верхъ?

Хочется пойти и бросить подачку въ лицо; бросить и сказать: если ужъ быть передъ жизнью и человѣкомъ камнемъ, то быть камнемъ подлиннымъ, цѣльнымъ—не идти на компромиссы, на трехрублевки.

Если ужъ бить, такъ бить прямо, грубо. Такъ лучше: нѣтъ по крайней мѣрѣ лицемѣрія.

А не лучше-ли не ходить? Развѣ мало я выпилъ униженій? Если я захлебнулся въ нихъ, то, что значитъ одно лишнее? Развѣ тѣмъ, что принимая эту до глубины души уязвившую меня подачку, я не пріобрѣтаю себѣ права не краснѣя взглянуть когда нибудь въ лицо этому человѣку и сказать: «Вотъ вамъ ваша трехрублевка. Помните, когда и при какихъ условіяхъ вы мнѣ ее дали? Какимъ чувствомъ вы руководились, чтобы такъ унижать человѣка?»

Развѣ это не моментъ?

Эти вопросы взяли верхъ.

Я прячу письмо въ карманъ, трехрублевку въ ящикъ стола. Побѣждаетъ ядовитая истина, что ты живешь *въ мірѣ униженій* и, если хочешь выжить, хочешь быть побѣдителемъ — значитъ пей униженія и молчи до поры до времени.

Дави въ себѣ взрывы твоей попираемой гордости во имя высшей гордости: гордости не упасть, а подняться. Раньше времени не кричи, ибо каждый твой крикъ будетъ противъ тебя.

Затѣмъ мой подъемъ спадаетъ. Мнѣ становится скучно. Чтобы развлечь себя, я беру книжку журнала, который редактируетъ А.

Читаю.

Читаю и вижу, что едва-ли я когда удостоюсь чести печататься на страницахъ «нашего журнала».

Вотъ его направленіе: дальше, какъ можно дальше отъ жизни!

А такъ какъ отъ нея уйти совсѣмъ нельзя, то на всѣ острые углы ея тамъ накидываютъ лицемѣрный флеръ. Красиво погрустить позволяется, но выражать гнѣвъ въ сильныхъ словахъ—это грубо, недопустимо, этому нѣтъ мѣста въ журналѣ.

Но это не журналъ, а «Прокрустово ложе», гдѣ съ мягкими и милыми улыбками распинается человѣкъ, вся жизнь. Тамъ кастрируютъ лучшія чувства читателя, дѣлаютъ его слѣпымъ и увѣряютъ, (въ этомъ родѣ г. А. давалъ мнѣ однажды совѣтъ) что воспитывать и облагораживать читателя можно только тѣмъ матеріаломъ, какой подбираетъ онъ (г. А.)

Я приносилъ вещи, изъ которыхъ ясно, что дальше идти не куда,—жизнь ожесточенная бойня, гдѣ часто бьютъ безъ смысла, безъ надобности—мнѣ А. говорилъ, что это грубыя, неприятныя темы правдивы, но изображать ихъ слѣдуетъ не такъ: «Повѣрьте мнѣ, что нервировать читателя нельзя. И если вы изображаете ужасъ, насиліе, то какъ можно болѣе мягкихъ словъ, успокаивающихъ красокъ. Повѣрьте мнѣ: такое воздѣйствіе сильнѣе. Народился уже новый читатель, которому не нужно жесткихъ словъ, потрясающихъ картинъ: довольно на ужасъ и насиліе *намека, красиваго штриха!* Остальное читатель дополнитъ самъ».

Я повѣрилъ въ такого «новаго читателя»—и принесъ вещь помягче.

Но и эта вещь не подошла.

Героиня разсказа мать, у которой затравили ея перваго ребенка, у смертнаго одра ребенка рветъ на себѣ волосы и, хотя передъ собою никого не видитъ, но топаетъ ногами и кричитъ: «Вы, вы, звѣри, затравили моего ребенка!»

Это тоже оказалось: «Повѣрьте мнѣ, такъ нельзя! Это топанье ногами, рванье волосъ—это грубо, непріятно. Человѣкъ и въ несчастьѣ долженъ быть красивъ... Подумайте: топаньемъ ногъ и рваньемъ волосъ мать своего ребенка не вернетъ. Въ концѣ-концовъ, у матери о сво-

емъ ребенкѣ останется чувство печали—и не лучше-ли дать образъ такой печали, чѣмъ эта тяжелая сцена?»

Я ушелъ тогда отъ А., *подумалъ* и рѣшилъ къ нему больше не ходить: передъ такимъ человѣкомъ у меня начиналъ возникать какой-то смутный страхъ.

Потомъ я узналъ про А. нѣчто.

Журналъ существуетъ давно. А. редакторомъ его не былъ еще и года. И вотъ, какая-то старинная подписчица возмутилась содержаніемъ журнала, назвала это содержаніе *мерзостью* и потребовала вернуть ей подписныя деньги.

Контора, конечно, считала, что она въ правѣ денегъ не возвращать, но А. *топалъ отъ бѣшенства въ конторѣ ногами,* требуя, чтобы этой подписчицѣ вернули подписныя деньги немедленно!

Это не грубо?

Высоко-культурный эстетъ забылъ, что «человѣкъ и въ несчастьѣ долженъ быть красивъ», хотя какое же тутъ несчастье?

Значитъ, если какой-нибудь *пустякъ* противъ насъ—этотъ пустякъ цѣлое преступленіе, гдѣ невозможно сдержаться отъ бѣшенаго топота ногъ при наличности всѣхъ конторскихъ служащихъ, а драма другихъ, драма матери, получившей, можетъ быть, въ смерти своего ребенка смертельный ушибъ души на всю жизнь—это *пустяки*, это положенье, гдѣ недопустимо рвать волосъ и топать ногами?!

Вотъ оно «чудище-обло» XX вѣка!

И съ горькимъ, съ безконечно горькимъ чувствомъ я отбрасываю книжку журнала и сижу, тупо спрашивая себя: что же теперь дѣлать?

Скука, давитъ чудовищная, еще никогда въ такой мѣрѣ не извѣданная скука.

Я беру карандашъ и на газетѣ множество разъ пишу:

— Гоголь, не на такую-ли скуку ты намекалъ, когда говорилъ:

—«Скучно жить на свѣтѣ, господа!»

Пишу вдоль и поперекъ. Весь листъ газетный черенъ, а я пишу, пишу.

И не слышалъ, какъ поднялась съ постели жена и подошла ко мнѣ.

— Дѣдъ, ради меня... Боже мой, какое у тебя лицо... На меня это больно дѣйствуетъ. Больно тебѣ—больно мнѣ. Ради меня: не надо этого лица! Умоляю тебя.

Я смотрю на жену,—лицо у ней испуганно-страдающее, но и лицо ея, и вся она въ эти моменты отъ меня такъ далеко-далеко, что я ее едва вижу: съ тѣмъ усиліемъ, точно насъ отдѣляетъ большое разстояніе.

Инстинктивно я веду ее къ постели, укладываю и съ трудомъ изъ себя вяло выдавливаю:

— Лицо, какъ лицо. Выдумываешь ты. Забылся я, и больше ничего. Не сердись, родная.

Она посмотрѣла на меня и закрыла глаза.

Я почувствовалъ, что мнѣ куда то надо

пойдти; на минуту у меня проснулось сознанiе, что жестоко сейчасъ оставлять жену одну—и потомъ погасло.

Я началъ одѣваться. И если бы жена начала просить меня, чтобы я не уходилъ, я, вѣроятно, ей не уступилъ бы. Но она ничего не сказала. Я молча вышелъ изъ дому и пошелъ.

Куда? Зачѣмъ?

Такими вопросами я не задавался.

Давила скука. Чудовищная скука. Порывало бѣжать: бѣжать до упаду. И страхомъ пронизывала мозгъ мысль: а что, если такое состоянiе на недѣлю, на двѣ?

И какъ всегда, эта же мысль старалась меня обмануть; она говорила мнѣ, что въ сущности все ясно—гибель ждетъ прежде мою жену, потомъ меня, что противъ неизбѣжности ничего не подѣлаешь, что кромѣ мужества бороться до послѣдняго конца ничего не остается, что это мужество есть во мнѣ, а поэтому—къ чему мучить себя какой-то дикой скукой, усугублять и безъ того нелегкое положенiе свое?

Но инстинктъ, инстинктъ!

Когда я безцѣльно шагая по улицамъ, проходилъ мимо одного дома, меня точно кто толкнулъ и сказалъ:

— Вотъ домъ, гдѣ живетъ человѣкъ, который тоже повиненъ въ твоей скукѣ.

Съ минуту я стою около этого дома и припоминаю.

Поэтъ и беллетристъ. Сухое, самовлюбленное лицо. Дворянинъ, тоскующiй въ своихъ произведенiяхъ о томъ невозвратно-уплывшемъ времени, когда горбами крѣпостныхъ поддерживались богатыя помѣщичьи усадьбы: съ широкимъ разгуломъ, со стаями собакъ, съ лихими тройками, съ безграничнымъ насилiемъ надъ закрѣпощенными людьми! Увы, все минуло, какъ сладкiй сонъ. Нищаемъ и плачемъ!

Могу ли я забыть этого тоскующаго дворянина?

Выплыли изъ памяти прошлые дни. Тогда, когда живъ былъ еще ребенокъ. Былъ кризисъ: ни копѣйки въ карманѣ. Жена побѣжала куда-то раздобывать денегъ—и запропала.

Надвинулась ночь.

Когда тянулись сумерки—ребенокъ долго плакалъ: требовалъ огня. Но керосину не было.

Наплакался и замолкъ.

Я сидѣлъ съ ребенкомъ у окна и видѣлъ тоскливый, молчащiй страхъ въ глазахъ ребенка: пятимѣсячная крошка прижалась крѣпко къ моей груди и жадно-жадно заглядывала въ яркоосвѣщенныя окна противоположнаго дома.

Жена вернулась къ двѣнадцати ночи—разбитая, безъ гроша и безъ надежды достать хоть сколько нибудь на слѣдующiй день.

Мы голодали уже двое сутокъ, но мы о себѣ забыли.

На другой день я отправился къ дворянину,

Онъ меня зналъ; когда то мы встрѣчались у Горькаго. И хотя съ перваго впечатлѣнія я неблаговолилъ къ нему—но чего не поборешь, когда почувствуешь ужасъ ребенка оттого, что нѣтъ огня.

Я несъ къ дворянину разсказъ: будьте добры, прочтите, молъ, мою вещь, и если возможно ее куда-нибудь устроить—буду вамъ благодаренъ.

Я несъ разсказъ, не думая о его устройствѣ: взялъ его, какъ предлогъ, за которымъ просьба—одолжить на короткое время хотя-бы рубля три!

Дворянинъ меня принялъ... если это можно назвать пріемомъ?

Жилъ онъ въ дорогихъ меблированныхъ комнатахъ. Стучу къ нему въ его дверь разъ, два. Дверь чуть-чуть пріотворяется; прежде вѣжливо-высматривающіе глаза, потомъ раздраженные: чортъ знаетъ кто безпокоитъ! Я раскрываю ротъ и успѣваю только сказать:

— Вы, можетъ, меня и забыли. Мы съ вами встрѣчались...

Дверь широко распахивается и дворянинъ передъ моимъ носомъ энергично машетъ руками:

— Не могу... Не могу говорить! Вы мнѣ все настроеніе испортите! Я рефератъ готовлю. Придите, какъ нибудь еще. А теперь... не могу говорить... Не могу!

И захлопнулъ дверь.

Таковы мы въ жизни. А на словахъ—въ одномъ изъ своихъ произведеній онъ гордо заявляетъ: «Мы, можетъ быть, проживемъ не напрасно!»

У него рефератъ? Но давалъ ли ему право этотъ рефератъ встрѣчать такъ и выпроводить человѣка, не зная—что у него.

У него рефератъ! Не нашелъ ли онъ точки опоры для Архимедова рычага? Не додумался-ли до открытія тайны четвертаго измѣренія?—Не разрѣшилъ ли величайшія проблемы жизни и смерти?

Ничего подобнаго! Все свелось къ тому: онъ прочелъ въ литературно-художественномъ кружкѣ свой рефератъ, услышалъ нѣсколько жиденькихъ хлопковъ, а на другой день прочелъ въ газетѣ о своемъ рефератѣ отчетъ... въ десять строкъ!

У него—рефератъ, а у меня—ужасъ: я шелъ отъ него и трепеталъ: а если и сегодня намъ съ женой придется пережить тоскливый, молчащій страхъ пятимѣсячной крошки?

Гроза тогда миновала: я выпросилъ у лавочника два фунта керосина въ долгъ.

Забывается по временамъ этотъ тоскующій дворянинъ, забывается страхъ пятимѣсячной крошки—но сѣмена брошены, нива чудовищной скуки зрѣетъ и даетъ себя чувствовать.

Съ минуту я стою противъ знакомаго дома и иду дальше, занятый сопоставленіями г. А. и поэта-дворянина: кто изъ нихъ лучше?

Припоминаются слова Шницлера: *)

«Самые жалкіе прохвосты тѣ, благородство которыхъ простирается лишь настолько, чтобы не вводить ихъ въ расходы и мужество которыхъ какъ разъ настолько велико, что съ ними не можетъ ничего случиться».

Раздумываю и нахожу, что дворянинъ—поэтъ все-таки лучше: цѣльная натура, не говоритъ сладенькихъ словъ, не идетъ на компромиссы.

А это лучше: никакихъ иллюзій не создаетъ и сразу свой ликъ кажетъ.

Не будетъ мучить: съ первой же встрѣчи опредѣлишь его достойнымъ словцомъ и больше къ нему не пойдешь!

Я иду дальше. Уже усталъ. Но идти надо. Куда? Не все ли равно. Но ноги намяты до боли—и это заставляетъ меня завернуть къ З.; знаю, что въ это время онъ не занятъ и иду къ нему какъ будто бы съ цѣлью отдохнуть.

Но когда прихожу къ нему—едва переступаю порогъ его квартиры и яснѣе опредѣляю себя: я жалокъ, я загнанъ, какъ собака, и въ эту квартиру меня привело не чувство простой, физической усталости, а чувство болѣе худшее:

*) Эти тяжелыя слова Шницлера писались въ тяжелое время—они *освящены вершиною* человѣческихъ страданій и поэтому я считаю себя не въ правѣ замѣнять ихъ болѣе мягкими. Г. высоко-культурные эстеты—не сердитесь: вы видите, какъ вы жестки и некрасивы... точно булыжники.

я падаю, падая знаю, что и здѣсь не получу того, чтобы меня и больную жену вывело изъ полосы гибели и все таки хожу сюда, ибо здѣсь мнѣ еще ни разу не дали грубо почувствовать, что я надоѣлъ.

Изъ передней мы проходимъ съ З. въ его кабинетъ.

Я передаю ему письмо А. и говорю — тихо, съ нотками безнадежной покорности:

— Прочтите. Вы увѣряли, что онъ возьметъ этотъ разсказъ... Никогда онъ у меня ничего не возьметъ.

З. прочелъ письмо—и молчитъ.

Я говорю, что не понимаю въ письмѣ вотъ этой фразы: «Что то клиническое; болѣе идущее къ спеціальному журналу»; или, вѣрнѣе, понимаю, но какъ ни къ чему не идущую, нелѣпую отговорку. Воспаленіе легкихъ у ребенка, потомъ рахитъ, за рахитомъ чахотка—для всякаго человѣка понятно, что это слѣдствіе одного къ другому, а А. находитъ, что въ разсказѣ слишкомъ «много болѣзней».

Говорю и недоумѣваю:

— Странно. Точно я написалъ какую то ученую статью для медицинскаго журнала... Гдѣ такой «спеціальный журналъ», куда болѣе идетъ вещь написанная въ беллетристической формѣ?

З. вновь перечитываетъ письмо, потомъ смотритъ въ окно и говоритъ по адресу А.:

— Баба!

Помолчалъ:

— Принесите мнѣ этотъ разсказъ. Я его передамъ еще въ одинъ журналъ.

Я благодарю и спѣшу проститься: опять скука!

При мысли, что сейчасъ пойду домой, гдѣ меня ждетъ подвалъ — въ немъ погибающая жена,— меня на моментъ охватываетъ ужасъ: страшно идти домой.

Чувство близкое къ истерикѣ бьетъ въ голову и я готовъ расплакаться, а плача повѣдать о кошмарѣ, давящимъ меня и больную жену въ проклятой ямѣ.

Но скука, холодная, желѣзная, мудрая скука: она говорить мнѣ, что никому твой ужасъ никогда не будетъ такъ близокъ, какъ тебѣ; она знаетъ, что при видѣ твоего отчаянія, слезъ, человѣческія сердца немного трогаются, но она горда и слезы при другихъ считаетъ степенью недопустимой слабости, она горда и требовательна,— хочетъ, чтобы люди чувствовали ужасъ безъ слезъ, безъ сценъ отчаянія.

И безъ звука о своемъ тяжкомъ положеніи я иду отъ З. домой.

И спѣшу. Мнѣ стыдно за малодушіе: я убѣжалъ и оставилъ больную женщину въ такой обстановкѣ одну?!

Время около пяти вечера.

Жена заждалась меня до муки. Испуганныя, уже нескрываемыя нотки звучатъ въ ея голосѣ,

когда я изъ кухни отворяю дверь въ свою комнату:

— Дѣдъ, это безбожно! Такая тоска! Темь невыносимая — и огня зажечь не въ силахъ: въ такомъ холодѣ я не могу съ постели подняться. Бога ради—зажигай огонь, давай чаю.

Я зажигаю огонь. Потомъ пьемъ чай. Отъ лампы въ комнатѣ теплѣе. Жена повеселѣла. Шутила. Смѣялась. Тормошила меня:

— Это невозможно! Терпѣть не могу хмурыхъ лицъ. Смотри на меня: не унываю же я!

Я смотрѣлъ на нее—и горько улыбался.

Она, наконецъ, замолкла. Такъ мы молча просидѣли съ полчаса. Я чувствовалъ, что я своимъ состояніемъ ухудшаю состояніе больной, но не было силъ подавить въ себѣ все наростающую тяжесть.

— Ну, посмотри: на кого ты похожъ? Какъ ты мучаешь меня.

Жена держала передъ моимъ лицомъ зеркало. Мои плечи сузились, голова глубоко ушла въ туловище, а лицо—я содрогнулся отъ холода и отъ окаменѣнія своего лица.

Жена пошла къ постели, уткнулась лицомъ въ подушку и тихо плакала.

Я молча и медленно гладилъ ея волосы, а въ головѣ упорно стояла одна мысль:

— Какъ вдумаешься хорошенько—ничего не страшно. Ни жизнь, ни смерть. Ничего нѣтъ страшнѣе того, что есть въ человѣкѣ...

Но моментами погасала и эта мысль. И тогда наступала полная внутренняя темнота, полная безысходность, выливающаяся въ одномъ напряженномъ внутреннимъ крикѣ:

— Скука!.. Боже мой, какая скука!

~~~~~~~~

Безпокойная тревога, страхъ, потомъ ужасъ и, наконецъ, бѣшенство — вотъ смѣна чувствъ, которыми я жилъ внутренне, а внѣшне—внѣшне было и необходимое самообладанiе и мужество.

Утромъ я поднимался съ тяжелой головой и силился сообразить: за что же мнѣ приняться?

И не могъ.

Засматривалъ въ углы комнаты, останавливался у стола, потомъ вновь блуждалъ по угламъ.

Жена въ этомъ чуя недоброе — тревожно спрашивала:

— Чего ты ищешь?

Я подходилъ къ ея постели.

— Я?

— Да, ты. Усталъ ты, дѣдъ.

— Я?—и я начиналъ тереть лобъ рукой: — Нѣтъ, я ничего. Правда: голова болитъ. Чортъ знаетъ, почему болитъ. Должно быть, легкая инфлуэнца. Но ты не безпокойся. Приму аспирину и все пройдетъ.

Но аспирина я не принималъ, а шелъ въ кухню и подставлялъ голову прямо подъ кранъ.

Тяжесть и боль головы отъ холодной воды исчезали и возвращали мнѣ способность соображать.

Съ мокрой головой я иду въ лавку за хлѣбомъ. Возвращаюсь. Самоваръ хозяйкою уже поданъ. И жена встала—сидитъ за столомъ. Я упрекалъ иногда:

— Вѣдь, дрожишь? Охота въ такой холодъ подниматься?

Она мнѣ отвѣчала тономъ шутки:

— Развѣ я такъ слаба, что не могу встать и подняться безъ твоей помощи?

За чаемъ я всматривался и замѣчалъ, какъ остро ухудшается ея здоровье. Отъ того, хотя еще и больного, но странно прекраснаго лица, съ какимъ она прiѣхала, не осталось и слѣда: осунулось до невыносимой скорби, потемнѣло до землистаго оттѣнка, свѣтло-пепельные волосы начали тускнѣть. Отъ прежняго лица—остались одни только глаза. Въ нихъ все то-же великое спокойствiе, котораго я въ первые дни ея прiѣзда не понималъ.

Съ этимъ ея спокойстiемъ, спокойствiемъ смиренiя и покорности, я не могъ примириться.

И каждый день со мной повторялось одно и тоже такъ, точно переживалось впервые. Въ началѣ захватывала тревога, та безотчетная тревога, когда человѣкъ добитъ до того, что сразу не можетъ осмыслить, что собственно ему угрожаетъ; потомъ эта тревога, замѣнялась расте-
~~~~~~~~

ряннымъ страхомъ: нужно куда то бѣжать—къ знакомымъ, къ незнакомымъ, все равно!—и молить о пощадѣ и о помощи. А затѣмъ уже — полное сознаніе, память обо всемъ томъ, что предпринималось, и рядомъ со страхомъ выростали ужасъ и бѣшенство: «Камни. Камни! Кто понялъ, кто почувствовалъ, хоть отдаленно? Куда дальше идти въ просьбахъ о помощи? Одно остается: идти и ползать на колѣняхъ. Тогда смилостивятся, пожалѣютъ! Нѣтъ, довольно того, что было. Пусть будетъ, что будетъ».

Послѣ чаю я начиналъ готовить обѣдъ. Готовилъ его медленно, спрашивая у жены,— въ какое блюдо, что лучше идетъ.

Женѣ обѣды были уже не нужны. Аппетитъ у нея упалъ совсѣмъ, но ради меня она насильно глотала нѣсколько ложекъ перваго блюда, отвѣдывала второго—и хвалила:

— Честное слово, дѣдъ: обѣдъ мастерски приготовленъ,

Я силился изобразить видъ, что похвалой доволенъ, но встрѣчались другъ-съ другомъ взглядами и каждый читалъ въ глазахъ другого: къ чему этотъ взаимный обманъ?

Читали и все таки этого обмана придерживались: какъ то особенно страшно и грубо казалось говорить о томъ, чего мы и безъ словъ знаемъ, къ чему идемъ безъ надежды на спасеніе.

Но и быть всегда на сторожѣ, давить мысли

и чувства тоже оказывалось не подъ силу. Обоимъ намъ мучительно хотѣлось разрубить этотъ страшный узелъ—и ни одинъ не рѣшался.

Мнѣ въ особенности казалось дико заговорить объ этомъ: вѣдь, умираетъ она. О такихъ вещахъ говорятъ люди только равныхъ положеній.

Можетъ быть, такъ думала и жена, когда рѣшилась заговорить объ этомъ первая.

Было время—время послѣ обѣда: самые тягостные для меня часы—часы тишины и молчанія.

Жестомъ руки жена попросила меня присѣсть на край ея постели и начала съ шуточнаго тона:

— Ахъ, дѣдъ, во всемъ, буквально во всемъ мы съ тобой на одну колодку. Я болѣю,—а ты мучаешься больше меня. Правда, если бы я была на твоемъ мѣстѣ, а ты на моемъ—мнѣ кажется, что я сошла бы съ ума. Легче, неизмѣримо легче смерть, чѣмъ пережить любимаго человѣка—такъ думаю я, думаю по бабьи! Но ты мужчина и посмотри на смерть мою глазами мужчины: умерла жинка, мало пожили, но что подѣлаешь,—значитъ, не судьба. Честное слово, дѣдъ! Съ меня довольно одного: знаю, что когда умру—лихомъ меня не помянешь. А? Ну, скажи же, что нибудь. Что молчишь?

Я молчалъ. Все во мнѣ замерло, кромѣ чувства воспріятія: каждое ея слово, интонація голоса входили въ меня и оставаясь во мнѣ, за-

полняли меня тѣмъ холодомъ отчаянія, когда не выдавишь изъ себя ни одного звука.

Помолчала и она—и тѣмъ же шуточнымъ тономъ:

— Сколько разъ я бывала зла на весь міръ, когда думала, что приходиться разставаться? Зла. Да. Но что-жъ, подѣлаешь. Такъ что-ль это говорятъ: плетью обуха не перешибешь? Я теперь ужасно забывчива. Главное здѣсь не то... видишь ли...

Голосъ жены дрогнулъ, слезы зазвучали въ немъ, когда она съ очевиднымъ усиліемъ сохранить самообладаніе, повторила:

— Видишь ли...

И не выдержала. Поднялась, припала ко мнѣ и плакала, то молча, то мѣшая слезы съ медленно бросаемыми фразами.

— Какая безысходная тоска, когда заживо хоронишь въ себѣ то необъятное, неутолимое. Слушай! Чѣмъ ни больше мы жили, тѣмъ больше въ насъ вливалось это великое, безпредѣльное, неизживаемое! Неизживаемое — зачѣмъ такъ? Неизживаемое—смотрѣла на тебя и думала: я умру, умрутъ мои мысли и чувства, а онъ останется жить... одинъ. Въ мірѣ скорби и ужаса. Дѣдъ, такъ хотѣлось часто взять твою голову, прижать къ себѣ и утѣшить, примирить... Но какъ рѣшиться на это, когда не можешь себѣ представить, до какой боли хочешь коснуться: а не сдѣлаешь ли хуже? И я мол-

чала: пусть все идетъ такъ, какъ сложится. Я молчала и желала, чтобы скорѣе конецъ этой агоніи. Смѣна чувствъ—то жизни, то смерти,—это невыносимо. Жаждешь конца. Что сказать тебѣ еще?

Жена на минуту замолкла. Я уже видѣлъ передъ собой ея лицо, полные слезъ глаза, но голосъ ея окрѣпъ и заговорила она ровнѣе, увѣреннѣе:

— Какъ жаль, что не знаешь, куда идешь, что тамъ ждетъ? Въ одномъ я убѣждена, что если тамъ жизнь, то для чувствъ человѣка смерти нѣтъ. А я вѣрю: *тамъ жизнь*. Я хочу вѣрить: ты здѣсь на землѣ, я *тамъ*—но мы вмѣстѣ. Нить не оборвется. Нѣтъ. Крѣпко связаны. Да. Развѣ у насъ не было минутъ, когда-то ты меня, то я, называли другъ-друга «мама моя»? Падали духомъ то ты, то я,—но вмѣстѣ никогда. Это мнѣ многое говоритъ. «Мама моя,» что тебѣ пожелать—не знаю. Увидишь самъ. Главное... вотъ...

Жена запнулась, добавила:

— Охъ, какъ не хорошо.

Потомъ вздрогнула всѣмъ тѣломъ и повалилась навзничь. Я перекрестился, повинуясь огромному, новому для меня чувству:

— Умерла. Вотъ смерть,—иной мысли мнѣ не пришло въ голову.

У меня внезапно созрѣло рѣшеніе: «умру и я! Довольно.» И это рѣшеніе дало мнѣ силу ду-

мать, отдать себѣ послѣдній отчетъ, а кромѣ этого—безконечно близкимъ и дорогимъ, какъ никогда при жизни, казалось мнѣ тѣло жены при мысли, что черезъ нѣсколько часовъ я тоже буду трупомъ.

Но когда за этой мыслью у меня было поднялось на минуту чувство ненависти, что у меня раздавили послѣднее, самое дорогое, а я... я тоже сдаюсь—въ этотъ моментъ вспыхнуло во мнѣ напряженіе безумной гордости, страстно захотѣлось жизни, жизни дикой, несчастной, жизни съ однимъ изступленнымъ сознаніемъ: «Какъ міръ и люди меня не давятъ, но я живу на зло людямъ и міру, я не сдамся»—и вотъ въ этотъ моментъ меня охватилъ жуткій страхъ.

Оставаться въ одной комнатѣ съ мертвымъ тѣломъ казалось немыслимо.

Въ комнату уже ползли сумерки. Я зажегъ огонь. Отъ стола я взглянулъ на постель и потянуло въ кухню, къ хозяйкѣ, сказать, что умерла жена и быть тамъ въ кухнѣ, но не здѣсь, не въ комнатѣ.

Выросло чувство порицанія, что вотъ стоило дорогой женщинѣ испустить послѣдній вздохъ и ты уже ее боишься. Ея духовный обликъ дорогъ, близокъ, о немъ не забудешь, но онъ уже куда то отошелъ, его не чувствуешь, какъ при жизни; осталась только оболочка духа—и этой оболочки ты боишься.

Но прошла эта минута, исчезло больное, изступленное желаніе жить «на зло», явилась опять рѣшимость умереть и вновь тѣло жены не стало меня пугать.

Потянуло къ нему. Я взялъ стулъ и присѣлъ къ постели. И смотрѣлъ на лицо жены—видя его смутно, какъ сквозь дымку,—и думалъ.

Вотъ, кончена жизнь. Какъ она лежала и умирала покорно въ этой ямѣ: ни разу не заикнулась ни о врачѣ, ни о лекарствѣ. Кончена жизнь. И кончена моя мука: знать, что есть еще возможность вырвать любимую женщину изъ рукъ смерти и сознавать, что на просьбы твои о помощи тебя оставили безъ помощи и заставили смотрѣть, какъ она приближается къ смерти,—что же тяжелѣе этого?

И я находилъ, что тяжелѣе этого ничего нѣтъ: это выше, чѣмъ «положить душу свою за други своя».

Я припоминалъ все, что *и какъ* мы пережили съ женой въ теченіе двухъ съ половиной лѣтъ и это *все* говорило мнѣ, что мнѣ теперь понятно, какъ «Любовь побѣждаетъ и адъ»,—адъ въ прямомъ и переносномъ смыслѣ.

Адомъ сплошнымъ была наша жизнь въ смыслѣ нужды, бѣдъ, и несчастій, но дрогнула-ли когда-нибудь передъ нимъ эта маленькая женщина? Нѣтъ.

Женщина!

Припомнилась встрѣча съ однимъ бродящимъ по Руси старичкомъ-странникомъ и его разсказъ.

«На мамочку, (такъ онъ называлъ всѣхъ женщинъ) милый, плохо не смотри. Мамочка—штука большая. Есть такое сказаніе въ одной старинной книгѣ. Жили-были Онъ да Она. Потомъ умерли. Почти что вмѣстѣ: прежде умеръ Онъ, а денька черезъ три—не выдержала, затосковала мамочка и тоже Богу душу отдала. Много испытаній пережили Онъ да Она на землѣ, а любви своей не измѣнили. Особенно крѣпка въ любви была мамочка. И захотѣлось Богу испытать ее въ послѣдній разъ. По повелѣнію Его приводитъ ангелъ душу мамочки къ дверямъ Рая и говоритъ: «Вотъ уготованное тебѣ мѣсто; постучи и тебѣ отворятъ. А вонъ твой земной избранникъ. Посмотри на него. Въ послѣдній разъ, больше ты его не увидишь. И молись за него: ему уготовано мѣсто искупленія.» Смотритъ мамочка и видитъ: врата Ада, а у вратъ стоитъ онъ—ея земной спутникъ и ждетъ, когда она скроется за дверью Рая. И поколебалась мамочка! Великій страхъ и великое смятеніе обуяли ее; видитъ она тоску по ней своего земного спутника и говоритъ ангелу: «Онъ мой избранный, настоящій. Развѣ я роптала, когда страдала съ нимъ на землѣ? Развѣ для меня есть выше мука: не чувствовать его около себя и думать о немъ,—а какъ онъ, что съ нимъ? Я хочу быть вмѣстѣ. За нимъ и съ нимъ хочу быть вездѣ и всюду!» И отвѣчаетъ ей ангелъ; «Тебѣ данъ выборъ: хочешь иди съ

нимъ въ Адъ». Еще разъ поколебалась мамочка—какъ никакъ, а Адъ-то страшитъ,—но увидѣла, какъ тянетъ къ ней руки спутникъ-то ея земной и не выдержала: пошла къ нему. Побѣдила значитъ себя! И тогда слышитъ мамочка голосъ Бога: Любовь—Животворящая, Всесозидающая, Всепрощающая и Всеискупляющая Любовь возьми своего избранника за руку и гряди въ Рай».

«Такъ то, милый! Вотъ она мамочка-то какая штука! Многіе изъ нашего брата смотрятъ на нее плохо—и шибко ошибаются!»

Я припомнилъ этотъ расказъ старичка-странника и думалъ:

— Да, женщина на это способна.

Потомъ я оторвался отъ постели и присѣлъ къ столу, Нужно было написать послѣднее. И вотъ, когда я только что успѣлъ взять въ руки перо, въ это время раздался стонъ.

Я не повѣрилъ себѣ. Но догадка, всколыхнувшая во мнѣ только что затихшій ужасъ, уже врѣзалась въ мозгъ. Я вернулся къ постели. Черезъ нѣсколько минутъ стонъ повторился и лѣвая рука жены медленно поднялась и упала на лѣвую сторону груди—противъ сердца.

Для меня очевидно: припадокъ-ли сердечный, глубокій обморокъ—но не смерть!

Но не смерть. Не конецъ. Какія же страданія суждены еще до полнаго конца?

И съ этой страшной мыслью, съ мыслью да-

лекой отъ радости, что дорогая женщина оказывается еще не умерла, я пускаю въ дѣло воду и спиртъ.

Черезъ полчаса мнѣ удается жену привести въ чувство.

Она весь остатокъ этого дня была очень слаба и провела его молча.

А я... я сидѣлъ за столомъ. Я видѣлъ изъ своего подвала весь этотъ чудовищный городъ, эту *хлѣбосольную* первопрестольную столицу «матушку-Москву», гдѣ рѣкой течетъ золото, но только не для погибающихъ: безполезно кричать о помощи, это городъ гдѣ честность бѣднаго человѣка — его величайшее несчастье и безусловная гибель

Это городъ духовнаго тлѣнія. Огромная мертвецкая, гдѣ разлагающіеся трупы давятъ живыхъ, если живые не хотятъ быть трупами.

Это городъ болѣе худшій, чѣмъ города «Содомъ и Гоморра»: тамъ милосердіе каралось закономъ, тамъ неимущіе классы противъ имущихъ были поставлены въ открытое положеніе смертельныхъ враговъ, здѣсь неимущіе обманываются смѣхомъ сатаны: вы въ городѣ *культуры и общественности* — просите и дастся вамъ... безмѣрная чаша униженій и страданій, поруганіе человѣческаго достоинства и, наконецъ, гибель!

Стучите и отворятъ вамъ — дверь въ могилу!

Я сидѣлъ и видѣлъ не одну только «Матушку Москву», а все цѣлое — всю разлагающуюся страшную Россію.

Я сидѣлъ и всѣмъ, кто повиненъ въ гибели родной страны хотѣлось въ душѣ крикнуть: Будьте вы прокляты!

Хотѣлось и переживалась смѣна чувствъ: то казалось, что страданіе такъ страшно, что его боишься призывать даже на головы враговъ своихъ, то—пустыми словами казались проклятія.

— Кто ихъ услышитъ? Да если и услышатъ—развѣ мало это страна посыпала себѣ голову пепломъ и каялась и проклинала себя? А жизнь,—эксцессы власть имущихъ и корчи слишкомъ ста-милліонной массы—все хуже, все страшнѣе, все давно за чертой человѣческаго... Къ чему слова проклятья—когда на лицо самопроклятье? Настоящее, подлинное самопроклятье. Страна разложенія, упадка.

~~~~~~

И опять пошли дни все наростающаго ужаса.

Какъ шло время до обѣда—я уже говорилъ,—послѣ обѣда — по настоянію жены я садился около нее, она брала мою руку и закрывала глаза.

Такъ я долженъ былъ сидѣть часа три-четыре, и это время для меня было тяжелѣе, чѣмъ до обѣда: все таки хоть немного отвлекался возней съ приготовленіемъ обѣда.

Сидѣть-же ничего не дѣлая и думать о томъ,
~~~~~~

о чемъ *нечего и нельзя* думать, видѣть, какъ больная лежитъ покорно безъ врача и лекарствъ— это было выше моихъ силъ. Посижу и, думая что не заснула-ли она — осторожно пытаюсь высвободить свою руку изъ ея руки.

Она открываетъ глаза:

— Ты меня бросаешь?

— Родная, я не надолго. Вотъ... кастрюли надо вычистить, посуду помыть. Вообще... все прибрать.

— Не надо. Потомъ: вечеромъ. Да и потѣшный ты въ это время: чистишь кастрюли и моешь посуду съ такимъ свирѣпымъ видомъ точно сокрушаешь враговъ.

Закрывала глаза:

— Ахъ, дѣдъ-дѣдъ. Все-то ты думаешь обо мнѣ. Чахотка... Что такое чахотка? Вѣдь, я еще молода: мнѣ только 25 лѣтъ. Въ такіе лѣта и чахотка не скоро свалитъ въ могилу: года въ три-четыре—не раньше. Въ этомъ я тебя увѣряю! А за это время мы найдемъ кого нибудь, кто мнѣ дастъ средства на леченіе. У меня по курсамъ есть одна знакомая — дочь милліонера-золотопромышленника; какъ нибудь съ силами соберусь — катну къ ней. Она въ деньгахъ не откажетъ. Однимъ словомъ: унывать намъ еще рано.

Задохнется. Закашляется.

Я зналъ, что у жены такая знакомая была; потихоньку отъ жены написалъ ей — но отвѣта не получилъ. Тогда предложилъ женѣ:

— Трудно тебѣ ѣхать. Хочешь — я съѣзжу?

Жена была противъ:

— Это неудобно. Вѣдь ты съ ней не знакомъ. Подожди—сама поѣду.

Откашляется. Отдышится и опять успокоенія:

— Ты не безпокойся за меня. Рождество не за горами. Устроюсь я тогда въ клиники. Тамъ хорошо. Тамъ меня скоро поправятъ. А пока... не уходи отъ меня. Знаешь...

Я знаю, что чѣмъ ни болѣе разговору, тѣмъ болѣе муки, и прошу жену помолчать.

— Родная, помолчимъ. Вѣдь, сама же мнѣ передавала, что говорить много врачи запрещаютъ.

— Да, да. Я тамъ, въ Ялтѣ, и воздерживалась. Но не говорить съ тобой? Это трудно такъ. А потомъ и ты—ты все молчишь. Ну, ну, молчу и я.

Закрывала глаза. По временамъ, точно желая убѣдиться не удралъ-ли я, слегка сжимала мою руку и улыбалась.

Это была улыбка души дожившей до смертельной усталости, души, примирившейся съ концомъ и черпающей утѣшеніе въ послѣднемъ счастьѣ: умирать, чувствуя около себя преданнаго человѣка.

Я изнемогалъ.

Тишина, та зловѣщая тишина, нащупывающая своими цѣпкими щупальцами въ человѣкѣ только тѣ части мозга и чувствъ, гдѣ нельзя себя ничѣмъ обмануть и утѣшить, гдѣ ужасъ ростетъ

въ ясныхъ, холодныхъ образахъ—такая тишина царила въ подвалѣ.

И съ неимовѣрными усиліями я напрягалъ свои силы только для одной цѣли: не показать умирающей, что меня покидаетъ мужество.

Но и жену давила эта тишина. И иногда она просила:

— По вечерамъ орутъ, надоѣдаютъ; днемъ молчатъ. Иди и скажи этой дѣтворѣ, чтобы играли. Пусть ихъ визжатъ. Это меня не безпокоитъ.

Я шелъ въ кухню. Хозяйка въ это время всегда куда то уходила.

Дѣтишки, кутаясь отъ холода въ грязную рухлядь и прижимаясь другъ-къ другу, сидѣли на сундукѣ.

Посинѣвшія лица и застывшіе въ тоскливо-страшномъ страхѣ глаза: за что?!.

И говорить имъ, чтобы они играли — у меня не хватало духу и я возвращался къ женѣ съ заявленіемъ, что этимъ несчастнымъ дѣтямъ не до игры.

И она сознавалась.

— Да, да. Такъ хочется ихъ иногда приласкать, но я ихъ видѣла разъ и съ тѣхъ поръ боюсь видѣть. Скорбь. Куда не оглянись—скорбь.

А потомъ...

Потомъ на дворѣ только еще слегка вечерѣетъ, а въ подвалъ уже угрюмо и упрямо лѣзутъ темные сумерки и прячутся черными тѣнями по угламъ комнаты.

Полчаса — и хищная полутьма: всего вида обстановки комнаты еще не поглотила, но на всемъ отпечатокъ злой тайны.

И жена говорила о своемъ страхѣ.

— Дѣдъ, смѣйся надо мной... Я только тебѣ не говорила: дѣвушкой, я иногда въ сумерки боялась быть одной въ комнатѣ; потомъ, когда жила съ тобой—одно время все трынъ-трава; а теперь опять и при тебѣ—не то, чтобы боялась, а такъ... непріятно.

Помолчитъ.

— Видишь кресла, диванъ, столъ и кажется, что они вотъ-вотъ двинуться на насъ. Посмотришь въ углы — тамъ тоже какъ будто бы замышляется противъ человѣка недоброе. И думается въ это время: все противъ человѣка. Вездѣ враждебныя тайны, а человѣкъ, какъ слѣпой: чувствуетъ что-то неладное, а не видитъ, не понимаетъ. Смѣйся, дѣдъ, надо мной, но зажги огонекъ.

Я зажигалъ. Она успокаивалась. И раскаявалась:

— Чушь я тебѣ говорила. Вообще, дрянцо я стала порядочное. Нѣтъ, дѣдъ, возьму себя въ руки и не буду говорить глупостей. Обѣщаю тебя больше не разстраивать.

«Неразстраивать» меня она обѣщала каждый

день, но память ее уже покидала и она изо дня въ день повторяла одно и тоже.

Ужасъ, какъ натуру ослабленную болѣзнью, придавилъ ее, всосался въ нее и она уже была не въ силахъ не выражать его.

Къ семи часамъ вечера у ней начинался жаръ: доходило до сорока.

Отъ жара она была возбужденно-весела и, каждый разъ, когда я снималъ термометръ, оживленно спрашивала:

— Сколько? Навѣрно сорокъ?

«Сорокъ» она любила:

— Когда жару нѣтъ — вѣчно зябнешь, киснешь, а при сорока хоть и знаешь, что горишь, но за то чувствуешь, что въ тебѣ есть еще кровь, жизнь...

Пили чай. Она любила чай и по вечерамъ выпивала стакана три-четыре; и тутъ забывалась. Черезъ день-черезъ два съ веселой улыбкой повторяла:

— А знаешь, дѣдъ, какъ я люблю чай? а? И непремѣнно изъ кипящаго самовара: паръ столбомъ — иначе не помирюсь. Въ дѣвушкахъ, когда казалось, что останусь старой дѣвой, всегда утѣшалась тѣмъ: «Ну, и ладно. Эка бѣда: остаться старой дѣвой! Плакать не стану: буду имѣть на столѣ вѣчно кипящій самоваръ». Удивительно люблю чай и кипящій самоваръ!

Потомъ переходила на воспоминанія своего дѣтства, съ нихъ перескакивала на какіе нибудь

моменты изъ нашей горемычной жизни, когда еще была здорова, но больнѣе всего было слушать, когда она съ особенной любовью вспоминала:

— А помнишь, дѣдъ, какъ мы съ тобой чуть-ли не цѣлый мѣсяцъ питались одной картошкой? а? Тутъ и Рождество и Новый годъ—а у насъ картошка! Вотъ въ это время я поняла: не въ деньгахъ счастье. До жизни съ тобой я такіе праздники встрѣчала отвратительно: традиціонные балы въ офицерскомъ собраніи, шампанское, цвѣты, а въ душѣ тоска, хоть въ петлю лѣзь. Кругомъ пошляки и глупцы. Отвратительно! А тутъ картошка—но смѣхъ, бодрость, мужество, счастье. Восхитительно! Незабываемое, дѣдъ, время. Я благословляла нашу бѣдность: все ближе, все тѣснѣе она насъ связывала. И не будь у насъ бѣдности, кто знаетъ: были-ли мы такъ бы близки, счастливы? а?

Я подавленно улыбался. А иногда, чтобы предотвратить новые взрывы боли, горечи, отчаянія, прибѣгалъ къ уловкамъ:

— Слушай, ты себя совершенно не щадишь. Хочешь, я что нибудь почитаю. Вредно тебѣ такъ много говорить.

Она отмахивалась рукою:

— Не будь жестокимъ и неискреннимъ. Ты, вѣдь, хорошо знаешь, что болтушкой я раньше не была. Дѣло дѣлала. Думы думала. Пойми: иного у меня теперь, какъ поболтать, вѣдь ни-

чего нѣтъ. Злой! Раньше жизнь у насъ шла такъ, что и поговорила бы, да некогда; теперь можно насытиться всласть—опять нельзя.

Помолчитъ. Подумаетъ. И вдругъ вспыхнетъ силой.

— Дѣдъ, я не вѣрю, что умру. Вѣрно: воспоминанія иногда обоюдо-острый ножъ... Понимаю тебя. Но я вѣрю предчувствіямъ: они мнѣ говорятъ, что мы еще поживемъ. Поэтому я и не боюсь ворошить наше прошлое. Въ немъ наши свѣтлыя, бодрыя пѣсни... Ахъ, какой ты сталъ пессемистъ! За уши за это буду драть. Умирать? Здравствуйте, пожалуйста! Я такъ люблю, а тутъ, что за нелѣпость: умирать извольте. Ни за что съ этимъ не помирюсь!

Подходила ко мнѣ и, обнимая горячими, прозрачно-восковыми руками, гладила мои волосы, расправляла какую то особенно не нравящуюся ей морщину у меня на лбу:

— Дѣдъ, не хочу видѣть у тебя этой морщины! У-у, бука! Ну, улыбнись. Улыбнись такой улыбкой, какой иногда улыбался до моей противной болѣзни. Не падай духомъ. Вѣдь, вотъ я — видишь: не унываю. Ну, улыбнись!

Яркій свѣтъ огня, повышенная температура, подъемъ духа — все это ставило ее на ступень высокой, но зловѣщей красоты, которая на меня дѣйствовала такъ, когда я въ раннемъ дѣтствѣ впервые увидѣлъ въ темную лѣтнюю ночь большой пожаръ: величіе прекраснаго и трепетъ ужаса.

И такой силой экстаза вѣяло изъ глазъ жены въ то, что «унывать еще рано», что на нѣсколько моментовъ она этимъ экстазомъ зажигала и меня.

А можетъ быть, какъ нибудь и изъ этихъ тисковъ вывернемся и жена выдюжитъ? Развѣ не бывало примѣровъ?

И однажды въ одинъ изъ такихъ моментовъ я даже высказался, что хорошо бы женѣ дожить до весны и уѣхать куда нибудь въ деревню, гдѣ—видѣлъ, молъ, я въ одной деревнѣ женщину—въ послѣдней стадіи чахотки, а года черезъ три встрѣчаю вновь и поразился: цвѣтущее здоровье! Сталъ разспрашивать: отчего? Баба говоритъ, что поправилась отъ майскихъ озимей: пила настой изъ нихъ. Или еще случай. Убили мужика. При вскрытіи докторъ удивился: несомнѣнный и въ очень сильной степени бывшій туберкулезъ, но отчего полное зарубцеваніе обѣихъ легкихъ — понять не могъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ мужикъ можетъ лечиться?

Тоже, чѣмъ нибудь вродѣ майскихъ озимей.

Но бросалась въ глаза фигура жены. Всей худобы не видно: скрыта широкимъ капотомъ. Но отъ каждой складки его вѣетъ, что за нимъ, уже то тонкое, роковое, какъ въ срѣзанномъ и, хотя медленно, но неизбѣжно умирающемъ цвѣткѣ.

И готовый уже улыбнуться той улыбкой, когда чортъ не страшонъ, я улыбаюсь: улыбкой нестерпимой боли, улыбкой мятущейся тоски, улыбкой того непосильнаго надлома, когда отъ безумно вспыхнувшей надежды моментально переходишь въ полосу неизбѣжности.

И грудь раздиралася отъ неистоваго бѣшенства: если бы сила и власть однимъ ударомъ разбить весь міръ!

Но это«еслибы»? И слова изъ себя не выдавишь—все твое неистовое бѣшенство безсильно противъ одного: уста скованы холодной усмѣшкой, затаившейся въ углахъ губъ.

И со жгучей мыслью, что въ лицѣ этой маленькой женщины гибнетъ та сила духа, которую бы не могли сломить никакія терніи жизни, съ мыслью, что сильный духъ заключенъ въ слишкомъ хрупкую оболочку — я въ приступѣ отчаянія бралъ жену на руки и цѣловалъ ее въ лобъ, въ безкровныя горячія губы.

А... она блаженно улыбалась:

— Какъ ты цѣлуешь... безстрашно. Это, дѣдъ, любовь: она не знаетъ страха ни передъ чѣмъ. Это любовь.

Потомъ останавливала:

— Но довольно. Довольно. Я боюсь... А вдругъ и ты того... зацѣпишь отъ меня. Скверная болѣзнь.

Закрывала глаза и тихо покачивалась у меня на рукахъ.

Чѣмъ жила — прошлымъ, настоящимъ, будущимъ,— нельзя было понять: точно видѣла прекрасный сонъ.

Нельзя было понять такъ же и того, когда вдругъ порывисто прижималась ко мнѣ и бурно заявляла: «Жить! Жить!»

Была-ли это вѣра въ то, что она выживетъ, или это была сила тоски, видящей дальше нашего сознанія и чувствующей, что это уже *счастье конца*—трудно было опредѣлить.

Къ двѣнадцати ночи у жены жаръ спадалъ; на смѣну являлись—безсиліе и страхъ.

Безъ огня она спать боялась, а при огнѣ не могла; промучается съ часъ и сдастся:

— Родной, туши лампу. И спать хочу—а не могу.

Огонь потушенъ. Но не спитъ она. Нѣтъ-нѣтъ да и спроситъ — тихо, виновато:

— Родной, спишь?

— Нѣтъ.

Потомъ кое-какъ заснетъ.

Днемъ я какъ то не замѣчалъ, что мой ревматизмъ отъ сырости подвала начинаетъ не на шутку разгуливаться: ходилъ и ощущалъ боль въ ногахъ — но до этого-ли, когда слишкомъ боленъ своими внутренними переживаніями? Но ночью ревматизмъ бралъ свое: равнодушно,

иногда даже брезгливо я ощупывалъ все увеличивающуюся опухоль на ступняхъ ногъ и колѣнахъ и бѣсился, что ноющая боль не даетъ заснуть.

А тутъ еще — сонъ у жены тяжкій: непрерывно-невнятный бредъ.

Невольно прислушиваешься, чтобы понять что нибудь изъ этого бреда, но кромѣ больно сжимающихъ сердце страдальческихъ стоновъ и безсвязно-отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ я улавливаю только слова: «Надя... Дѣдъ... Дѣтка моя...»—я ничего не разбираю.

И припоминаю я, какъ по необычайно спокойному лицу жены, когда она только что пріѣхала, я было подумалъ: «Неужели о ребенкѣ забыла?»; — припоминаю, какъ у меня вырвалось однажды сожалѣніе о смерти ребенка и, какъ жена, съ внезапно исказившимся лицомъ, попросила: «Забыть Надю надо, забыть. Никогда не говорить о ней. Это для насъ лучше».

Припоминаю и—«такъ значитъ ребенокъ забывается?!» Потомъ впадаю въ тревожно-безпокойный сонъ, если это можно назвать сномъ.

Собственное тѣло казалось мнѣ огромнымъ по величинѣ, чудовищнымъ по тяжести — руки, ноги, все точно изъ свинца: кажется, что сколько ни силься, но ни за что ни ногою, ни рукою не пошевельнешь.

Языкъ во рту—это въ особенности казалось страшно, — разростался въ ширину и толщину

съ пугающей быстротой: я не могъ понять, какъ это непостижимо-ростущая масса вмѣщается въ роту, а мысль, что это органъ для выраженія мысли и чувствъ казалась уже полнѣйшимъ безуміемъ: лежало вмѣсто языка огромное, безсильное тѣло, какъ не маленькая частица организма, обязанная служить цѣлому, а какъ нѣчто отдѣльное, нѣчто, неустанно молящее о покоѣ и жалующееся, что покоя нѣтъ потому, что его давятъ и снизу, и сверху, и съ боковъ.

Все напряжено, все живетъ само-по себѣ: тѣло заявляло о своей крайней усталости, о своемъ правѣ на отдыхъ, а сознаніе, какъ бы вскользь съ недоумѣніемъ замѣчало: «Причемъ тутъ я?»— и вновь цѣликомъ отдавалось тому, чѣмъ было занято.

Вотъ скрипнула отъ движенія постель жены. «Надо встать, надо помочь: вѣдь, она даже не въ силахъ укрыться одѣяломъ такъ, чтобы не поддувало. Родная моя... родная...»—внушалъ я себѣ и не могъ сдѣлать ни малѣйшаго движенія.

Слышалъ, какъ чиркала спичка и чувствовалъ, какъ сквозь вѣки глазъ проникаетъ свѣтъ отъ зажженой свѣчи. Переживалась тяжкая борьба: рядомъ съ глубокимъ стыдомъ за свою черствость, за то, что я не поднимаюсь на помощь къ больной, рядомъ съ этимъ чувствомъ становилось такое чудовище усталости, которое говорило, что вѣдь все безполезно передъ тѣмъ

неотвратимымъ, что надвигается, что ничего иного не надо: лежать съ жаждой ничѣмъ ненарушимаго покоя, а тамъ будь для насъ обоихъ, что будетъ.

Но когда до моего слуха доходилъ и робкій, и виноватый, и умоляющій голосъ:

— Дѣдъ, родной, ты спишь?

Я вскакивалъ, совалъ босые ноги въ безобразно-растоптанные туфли и шелъ къ женѣ.

Дрожалъ отъ холода и сырости подвала и говорилъ:

— Ты не стѣсняйся. Всегда меня буди. Ну, чѣмъ тебѣ помочь?

— Укрой меня, холодно мнѣ. И посиди около меня. Прошу тебя: ужасъ на меня какой то находитъ.

И придавленный голосъ жены и ея видъ — это было выше человѣческихъ силъ: на это нельзя смотрѣть.

Я укутывалъ ее одѣялами, накрывалъ своимъ пальто и присаживался на край постели. Рядомъ съ постелью ставилось на ночь кресло—на немъ бѣлье для перемѣны при-испаринахъ.

Я касаюсь бѣлья рукой: оно сырое, холодное, побурѣвшее и липкое отъ пота.

И этого бѣлья нельзя отдать въ стирку: его всего на четыре смѣны. А испарины настолько обильны, что бѣлья не хватило бы и шести смѣнъ, если бы даже оно было чистое и сухое.

Подкупить—уплываютъ послѣдніе рубли!

И висятъ три смѣны бѣлья на просушкѣ по угламъ комнаты по цѣлымъ днямъ — и никогда не просыхаютъ.

— Какъ же быть?

И нѣчто страшное, а можетъ быть, и нѣчто Великое—какъ знать?—охватывало меня, порабощало мою волю, властно приказывало *совершить*: «Бѣжать, бѣжать отъ этого ужаса, ужаса безъ надежды на спасеніе, гдѣ есть только агонія: къ чему она трясется отъ стужи, снимая облитые горячимъ потомъ рубашки и надѣвая сырыя и холодныя? Чего жду я, когда деньги на исходѣ: еще нѣсколько дней—и голодъ, и нечѣмъ будетъ платить даже за эту проклятую яму...»

Припоминался человѣкъ съ непокорнымъ вихромъ волосъ: «по милости этого мы здѣсь, по его *любезности*... Чего же ждать? Оборвать все... Разомъ оборвать и ея жизнь и свою — вотъ выходъ.»

Я вставалъ и отходилъ отъ постели; грузно валился на свое ложе — грязная кушетка, а по серединѣ угрожающе торчитъ острый конецъ пружины: неосторожное движеніе — кровавая ссадина на тѣлѣ!

Потомъ вставалъ: забылъ потушить свѣчу.

Молящимъ шопотомъ жена просила:

— Родной, такой ужасъ—приляжъ со мною.

Я чувствую, что лицо мое страшно и, отвертываясь отъ взгляда жены въ сторону, отклоняю:

— Тѣсно будетъ — ни ты, ни я не заснемъ.

А бояться? Глупая—чего бояться, когда я отъ тебя въ трехъ шагахъ? Спи, родная. Спи...

Спазма слезъ, спазма бездоннаго страданія, отчаянія, ужаса давила мнѣ горло.

Тушилъ свѣчу, ложился на свое ложе: «Она не спитъ. Мучается отъ страха. Успокоить ее. Лечь съ ней.»

Чудовищныя минуты. Казалось, что стоитъ мнѣ только лечь и выждать, когда жена заснетъ, тогда руки мои невольно охватятъ тонкую шею жены и сдавятъ; будетъ борьба, будутъ конвульсіи — и больше будетъ безумной рѣшимости: развѣ можно себѣ представить, если не доведешь до конца этого страшнаго акта, какъ взглянешь въ глаза той, которая знала тебя до сихъ поръ, что ея малѣйшее душевное движеніе — полный и живой откликъ въ твоей душѣ, что ея малѣйшая боль—твоя боль?

Какъ взглянешь въ глаза? Немыслимо взглянуть. Немыслимо лечь около нее. Лечь съ такими мыслями — уже половина преступленія.

А потомъ... потомъ я требовалъ чуда.

«Смерть, я вѣрю въ безсмертіе. Я еще чистъ и прекрасенъ. Меня заставили захлебнуться въ униженіяхъ, но никогда, еще ни разу я не унизилъ своего Бога и не поклонился идолу. Я еще чистъ и прекрасенъ, но буду ли такимъ, если выживу? Возьми человѣка, когда онъ еще чистъ и прекрасенъ — его жизнь, его любовь за одно право: за право сказать умирающей женщинѣ:

«Родная, вотъ чудо. Вотъ наша смерть: мы сейчасъ умремъ вмѣстѣ. Встрѣтимъ свой конецъ со свѣтлой улыбкой, съ миромъ въ душѣ.»

Я требовалъ чуда — страстно, напряженно, до изнеможенія: впадалъ въ забытье и, тогда изступленный мозгъ кричалъ, что не будетъ чуда, есть ужасъ, есть кошмаръ, есть агонія,— но не будетъ чуда.

Шаталась моя крѣпкая, послѣдняя вѣра: вѣра въ безсмертіе души человѣка.

Потомъ опять слышалъ, какъ чиркала спичка: «Опять бѣлье мѣняетъ.»

Чувствовалъ черезъ сомкнутыя вѣки глазъ, что свѣча только что загорѣлась и сейчасъ же потухла и сознавалъ: «Значитъ, рѣшила остаться въ мокромъ бѣльѣ. Боже мой. Боже мой.»

А затѣмъ... затѣмъ уже чудовищные кошмары, отъ которыхъ я вставалъ утромъ въ холодномъ поту.

Вставалъ — ходилъ по угламъ комнаты, высматривая невѣдомо что, соображая «Что же дѣлать?», забывая названія самыхъ обычныхъ предметовъ и форму ихъ.

Подастъ хозяйка самоваръ и чайную посуду, а я мучительно ищу стаканы и чайникъ—упорно ищу на столѣ, когда они на столѣ у меня передъ глазами, а когда, наконецъ, найду, дохожу до отчаянія: какъ эта вещь называется?

Было около десяти утра. Я пошелъ въ лавку за покупками и попросилъ жену, чтобы она безъ меня съ постели не поднималась.

На дворѣ стояли тридцати градусные морозы и холодъ въ подвалѣ, вѣроятно, было ниже нуля.

— Родная, не вздумай встать безъ меня. Я тебѣ подамъ чай въ постель. Слышишь?

У жены было почему-то исключительно свѣтлое лицо; горѣлъ незримый внутренній огонекъ и отъ его свѣта каждая линія уже безмѣрно скорбнаго отъ страданія лица теплилась въ тихой радости.

Она мнѣ ничего не отвѣтила, но благодарно пожала руку и легкимъ движеніемъ головы дала понять, что безъ меня не встанетъ.

Я сходилъ въ лавку. Поставилъ на кресло около постели стаканъ чаю, зажегъ лампу, керосинку, а потомъ присѣлъ къ столу.

Хотѣлось о чемъ нибудь поговорить съ женой; впитать въ себя частичку тихой радости ея лица, но заговоришь ли, когда еще два-три дня—и не будетъ ни копѣйки?

Какъ тогда быть? Не написать-ли драматургу Ю. вторично? Но стоитъ-ли писать, когда не отвѣчаютъ?

Я кутался въ пальто. Глоталъ до обжога горячій чай и думалъ: къ кому же пойтти? И если пойду — получу милостыню въ 10—15 рублей, проживу ихъ и опять идти—ничего уже не получишь. Агонія—и больше ничего. И не пойдешь—гибель, и пойдешь—лишнее униженіе и гибель!

Я весь ушелъ въ то страшно-однообразное страданіе, въ ту бездну, гдѣ призракъ смерти, какъ величайшее благо, а жизнь — кошмаръ, призраки безумія и преступленія: уже и днемъ начинало давить то чудовищное «нѣчто», что мучило по ночамъ.

И вдругъ крикъ, крикъ души, когда она обезумѣетъ отъ боли, прорѣзалъ зловѣщую тишину подвала:

— Дайте мнѣ здоровья... Дайте мнѣ здоровья!

Я тупо, взглядомъ безъ мысли съ минуту смотрѣлъ, какъ жена, въ липнувшемъ къ тѣлу мокромъ бѣльѣ стояла на постели на колѣняхъ и тянула прозрачно-восковыя руки не къ стѣнамъ подвала, а туда—внѣ-его, *ко всему огромному городу*!..

Потомъ спала съ голоса и, уже задыхающимся шопотомъ страстно молила:

— Дайте мнѣ здоровья... Дайте мнѣ здоровья...

Я опомнился. Укладывалъ ее въ постель, куталъ въ одѣяла и бормоталъ:

— Что ты дѣлаешь? что ты дѣлаешь? Боже мой, что она дѣлаетъ?

И не могъ оторваться отъ ея лица. Съ застывшей мольбою въ глазахъ, съ потокомъ быстро катившихся по впалымъ щекамъ слезъ, съ тонкими струйками крови сочившихся изъ угловъ

губъ—это лицо было переполнено такой силой страданія, отъ котораго я застылъ.

И изнемогалъ въ усиліяхъ: что то надо сказать—и не зналъ что; чувствовалъ, что надо что-то сдѣлать—и не зналъ.

Мозгъ пронизывали какія-то мысли—яркія и грозныя, какъ молніи, но непосильныя области моего сознанія и непередаваемыя на слова.

И не замѣтилъ я, какъ изъ поля моего зрѣнія исчезло лицо жены: она уткнулась ничкомъ въ подушку и рыдала уже безсильно, беззвучно, съ судорожнымъ трепетомъ тѣла. У меня было состояніе, когда замираютъ ощущенія собственной жизни: дыбились волосы—не чувствовалъ, все тѣло непрерывно, какъ отъ тока, пронизывалось острой дрожью—не замѣчалъ.

Это то, когда душа возбуждена до степени высочайше напряженнымъ переживаній: уже не анализируетъ, что съ ней? отчего?—только прислушивается къ своему состоянію и ждетъ: а не оборвется-ли въ ней то, что въ ней самое главное, то, что уже какъ слишкомъ туго натянутся струна.

Тутъ нѣтъ выбора—тутъ стерта граница: страстно-ли она желаетъ этого «обрыва», или боится его.

Тутъ необычайно важнымъ кажется послѣдній звукъ—звукъ голоса души, звукъ разверзающій какую-то глубочайшую бездну и открывающій область величайшихъ прозрѣній.

Но звука не было... «Обрыва» не случилось и яркія и грозныя, какъ молніи мысли остались непоняты.

Пришло то, что посильно мыслямъ и чувствомъ: инстинктивно я опустился на колѣни передъ постелью жены и внезапно почувствовалъ, что это неизмѣримо-малая, атомъ того необъятнаго, передъ чѣмъ я оказался безсиленъ.

А мысль, маленькая, ничтожная мысль человѣка уже подсказывала:

«Поклонись. Благоговѣйно поклонись! Страданіе—ничего нѣтъ страшнѣе его. Ты видѣлъ и слышалъ то, чего никогда не могъ себѣ представить. Ты видѣлъ и слышалъ—и мало понялъ. Если бы видѣли и слышали другіе—поняли бы еще меньше. Ибо, если ужъ души—такъ камни, или одна, настоящая, но распыленная на тысячи: только для того, чтобы оскорблять Бога тѣмъ, что «созданъ по образу и подобію его!» Если ужъ зрячіе, то настолько, чтобы видѣть только себя и не замѣчать своего бездушія. Ты слышалъ крики—послѣдніе крики не къ Богу, а къ землѣ, къ людямъ. Тебя это ужаснуло, подавило, а другіе равнодушно отвернулись бы. Ты ждешь возмездія: если страданія не безсмыслица, то почему Онъ—Начало и Конецъ, Альфа и Омега не проявляетъ Себя? Тебѣ почудилось, что въ этихъ крикахъ послѣдняя угроза міру и послѣдній вопль къ извѣчной справедливости, а міръ давно захлебнулся

въ такихъ крикахъ—и все стоитъ. Не видя Рая, можно воображать, что ты въ силахъ ударить кулакомъ въ его дверь и властно потребовать: «Отворите! Дорогу мнѣ!» Незная того, когда и какъ, это будетъ «И мнѣ отомщеніе, Азъ воздамъ», глупо дѣлать небу вызовъ: «Не боюсь»! Смирись человѣкъ. Подумай, насколько ты слѣпъ для неба, когда ты настолько слѣпъ на землѣ: не видишь, какъ надо бороться съ врагами земли. Поклонись. Благоговѣйно поклонись страданію, ибо страшнѣе его ничего нѣтъ на землѣ. Поклонись и смирись: откинь гордыню свою!»

Мысль, несчастная, подлая мысль, она учила меня забыть своего Бога и поклониться Идолу!

И казалось: побѣдила. Казалось: пойду и согнусь передъ кѣмъ угодно. Не съ той благородной ненавистью, которая, если ужъ кого презираетъ, такъ къ тому не пойдетъ, а съ той, которую чѣмъ ни больше гнуть, тѣмъ больше она гнется—съ низкой, со змѣйной ненавистью.

Я началъ приходить въ себя—холодно думать: ну, къ какому первому благодѣтелю идти, затѣмъ къ кому—ко второму?

Человѣкъ пять наберется. И все—вліятельные люди. Сумѣешь подъѣхать, разжалобить—значитъ выйдешь изъ тупика, изъ полосы гибели.

Жена повернулась на спину; слезъ у ней уже не было; въ глазахъ свѣтилось раскаяніе за то, что не сдержалась.

Но, когда она увидѣла мое лицо, она схватила мою руку и взмолилась:

— Не надо этого лица... Я такъ всегда боялась, когда оно у тебя стынетъ. Теперь совсѣмъ каменное. Не надо этого лица.

Я встаю и смотрю на свое лицо въ зеркало. Оно страшно, но меня не пугаетъ. Вѣрно: оно каменное. Одни глаза живутъ страшно: отъ человѣка къ Сатанѣ—одинъ шагъ.

И молчу.

— Понимаю: виновата я,—продолжаетъ жена:—Но внезапно на меня это нашло. Сама не знаю какъ. Проснулась—на душѣ отъ одного рѣшенія было и радостно и свѣтло. Ты сидишь за столомъ, точно не живъ. Захотѣлось подшутить надъ тобой: подкрасться и испугать. А когда стала вставать и почувствовала, какъ я слаба, безсильна, тутъ на меня и накатилось.

Я молчу. Новый міръ злыхъ чувствъ и мыслей охватываетъ меня—и я молчу, не зная, какъ заговорить съ ней незлобивой, все прощающей.

А она не отстаетъ. Проситъ:

— Дѣдъ, Бога ради, не надо этого лица! Лучше плакать. Это облегчаетъ. Никто,—кромѣ тебя, да и ты, вѣдь, рѣдко,—не видѣлъ моихъ слезъ, но Богъ мой, сколько я въ своей жизни плакала. И если бы я не могла плакать, кажется я не пережила бы и десятой доли того, что пережилось.

«Плакать» въ устахъ жены звучитъ какъ то особенно вдохновенно, точно откровеніе—и во мнѣ перемѣна: новый міръ злыхъ чувствъ и мыслей тускнѣетъ, сладко саднящее чувство сжимаетъ мнѣ горло. И можетъ быть, я разревѣлся бы, если бы жена не заявила:

— Я давно убѣждена, что Богъ страдающимъ далъ одно благо: слезы. Научись плакать и многое переживешь, не запятнавъ своего сердца злобой.

Отъ желанія «ревѣть» я вдругъ остылъ.

— Нѣтъ, родная. Если ужъ Богъ—такъ Богъ слезъ умиленія, слезъ радости, счастья, слезъ хвалы и благодаренія ему, слезъ религіознаго экстаза, но только не слезъ страданія. Не могъ Онъ творить міръ съ желаніемъ такого «блага». Это благо дадено людямъ людьми!

Я много говорилъ на эту тему женѣ. Говорилъ жестко, но съ тѣмъ старымъ, вѣрнымъ чувствомъ, которые не гнется и передъ гибелью.

Вошла хозяйка и подала открытку. И не уходила—смущенно помялась и грубо:

— Извините. Деньги за комнату. Мѣсяцъ вчера кончился.

Я смотрю въ записную книжку: хозяйка права.

Со вздохомъ облегченія я говорю хозяйкѣ, что постараюсь сегодня и передаю открытку женѣ.

Хозяйка уходитъ. Смотритъ жена на открытку—и тоже вздохъ облегченія:

— Какъ кстати? а?

Помолчала:

— Боже мой, какъ я боялась, когда у насъ нечѣмъ будетъ платить за комнату! Правда, я кое о чемъ думала... Но остаешься ты... Да и хозяйка бѣдна. Гдѣ ей ждать?

Я съ недоумѣніемъ смотрю на жену:

— Я тебя что-то не понимаю. Что значитъ «остаешься ты?»

И уже весело, жена отмахивается рукою:

— Иди. Иди. Не опоздай. Потомъ поговоримъ. Ей-Богу, намъ везетъ!

«Везетъ?»

Съ усталымъ, глубоко-печальнымъ чувствомъ я одѣваюсь и ухожу.

Открытка была изъ редакціи журнала «Б. Г.».

Тамъ мнѣ пришлось имѣть дѣло съ однимъ изъ тѣхъ ловкачей—издателей, (онъ же и писатель, но уже сошедшій со сцены) у которыхъ только обѣщается участіе первоклассныхъ писателей, а ѣдутъ на тѣхъ, кого къ нимъ нужда загонитъ.

Съ первыхъ же словъ такой издатель меня порадовалъ:

— Беру вашъ разсказъ. Пусть дѣтишки почитаютъ.

Разсказъ былъ далеко не для дѣтей—для иныхъ и взрослыхъ по настроенію тяжелъ.

И въ первый моментъ у меня было явилась мысль, что этотъ редакторъ совершенно не уясняетъ себѣ, что нужно давать для дѣтей, но потомъ взглянулъ на него и понялъ... тактику этого редактора.

Понялъ и промолчалъ: тамъ ждущая денегъ хозяйка, умирающая жена... При такихъ условіяхъ своихъ условій ставить не будешь.

— Сколько бы вы хотѣли получить за свой разсказъ?

Я отвѣчаю, что редактору это лучше знать.

— Я имѣю обыкновеніе платить 40—50 рублей за листъ. Дѣтская литература у меня оплачивается дешевле. Но за вашу вещь я вамъ заплачу, какъ за литературу для взрослыхъ. Молодежь надо поддерживать. Въ вашемъ разсказѣ нѣтъ и полупечатнаго листа...

Я говорю, что знаю свой почеркъ: въ разсказѣ около печатнаго листа.

— Не можетъ быть.

Я говорю, что—вѣрно.

— Вѣрно? Если вы увѣрены, мы сдѣлаемъ такъ: когда вещь напечатается и, если дѣйствительно окажется больше, я за разницу потомъ доплачиваю. А пока... оцѣниваю вашу вещь въ двадцать рублей,—десять получайте авансомъ.

Начинается торгъ. Слишкомъ ужъ онъ энергично меня объѣзжаетъ и я чувствую, что такіе не обижаются, когда съ ними торгуются. Я выговариваю за вещь 25 руб. и деньги всѣ въ

виду крайней нужды сейчасъ же. Онъ долго жалуется, что подписчиковъ пока мало и даетъ только 15.

Прощаюсь и ухожу. Онъ меня провожаетъ.

— А вы ничего не имѣете, что разсказъ пойдетъ для дѣтишекъ?

Хмуро у меня вырывается:

— Чтожъ я могу имѣть? Воля ваша.

Онъ усмѣхается въ бороду.

— Но кто намъ мѣшаетъ передумать? Для дѣтей, правда, немного тяжеловатъ... Приносите еще что нибудь. Люблю съ молодежью имѣть дѣло: на первыхъ порахъ работалъ у тебя, о тамъ глядишь выросъ въ знаменитость. Отрадно!

Когда я пришелъ домой—жена меня встрѣтила тревожнымъ вопросомъ:

— Что у тебя случилось? Ты совсѣмъ позеленѣлъ.

Я показываю женѣ деньги—она успокаивается;

— Ну, слава Богу.

Съ недоумѣніемъ смотрю на нее: чему она радуется?

Присаживаюсь на край ея постели и готовлюсь къ тяжелому объясненію. Для меня ясны, какъ никогда, слова Гете: «Мысль, которая не ведетъ къ дѣйствію, приводитъ къ безумію».

И понуривъ голову, я говорю женѣ:

— Уплатимъ мы за комнату, что у насъ останется? Родная, если бы ты согласилась лечь въ

больницу? Такъ... на время—до клиниковъ? Подумай.

Дальше говорю, что, если бы я получилъ рублей 30—40 аванса, тогда бы изъ этой ямы мы выбрались, а теперь, съ этими деньгами нечего и думать: на такія деньги найдешь такую же яму и послѣдніе рубли на переѣздку истратишь.

Говорю вяло. Говорю о томъ, что само собою ясно, и о чемъ говорить не надо.

Жена меня прерываетъ:

— Уже подумала, дѣдъ. Сегодня ночью еще это рѣшила. Вези-ка завтра меня въ больницу. Такъ намъ обоимъ будетъ лучше.

И съ улыбкой:

— Удивляюсь, какъ эта мысль не пришла мнѣ въ голову раньше! Обрадовалась, что очутилась около своего дѣда и давай его мучить.

Съ горечью я цѣлую руку жены. Мысль о больницѣ меня начала посѣщать уже недѣли двѣ, но все держался: больно было думать, какъ отразятся на женѣ халатность больничныхъ порядковъ, грубость прислуги.

Держался и надѣялся, что можетъ быть больница минуется, но минуешь-ли чего тамъ, гдѣ за вещь уже по самой бѣдной цѣнѣ нужно получить руб. 75, но получаешь 25?

Больница? Злачныя мѣста, куда городъ сваливаетъ, какъ сваливается мусоръ на мѣстахъ свалки за городомъ, жертвъ своихъ преступленій.

Къ вечеру я слегъ: прежде былъ ознобъ, потомъ температура 40 съ десятыми.

Жена сидѣла около меня и плакала, и со страхомъ просила:

— Дѣдъ скажи, что нибудь. Нельзя молчать... Понимаешь...

Я улыбался:

— О чемъ же мнѣ говорить!

— О чемъ нибудь. Понимаешь... Ты что думаешь? Припомни-ка, какъ у меня чахотка начиналась: такой же сильный ознобъ, потомъ жаръ. Ты заразился отъ меня... Я теперь повѣрила: мы съ тобой роковые люди. Какъ припомнишь все, что мы съ тобой пережили, какъ несчастія одно другого тяжелѣе складывались одно за другимъ—нельзя не вѣрить! Подумай, сколько данныхъ у насъ было на жизнь и вотъ мы погибаемъ. У тебя—дарованіе. Ты его не самъ выдумалъ. А мой голосъ? Помнишь его? А теперь вотъ я хриплю. Я его уже выхаркала. Помнишь, когда мы поняли, что такъ намъ не выбиться и рѣшили, что я брошу на время курса и заберемся куда нибудь въ глушь? Какими мы побѣдителями смотрѣли: я буду въ какой нибудь школѣ учить дѣтишекъ, давать частные уроки, а ты отдашься своему дѣлу безъ заботъ о кускѣ хлѣба. А что вышло? Оставалось выждать четыре мѣсяца мѣста учительницы, а тутъ заболѣлъ нашъ ребенокъ... Подошла осень,—ребенокъ медленно умиралъ, заболѣла я. Крымъ...

Тамъ оставила Надю... Пріѣзжаю къ тебѣ—вотъ и ты готовъ! Ты это понимаешь? Столько данныхъ на жизнь было у насъ—и мы погибли! Если можно было бы вернуть жизнь, не такую, о какой мы думали, а хоть маленькую—забыть о томъ, что есть литература, консерваторія, потомъ сцена—ничего не надо· забиться бы куда нибудь въ глухой уголокъ, учить бы дѣтишекъ и доживать тамъ бы жизнь!... Но нѣтъ... ничего нѣтъ. Мы, дѣдъ, роковые люди.

Я встаю и сажусь около жены. Ея лицо—жуткое лицо: полно страшныхъ тѣней погребенныхъ надеждъ.

Забита маленькая женщина, забита до нелѣпой вѣры въ существованіе рока! Забита до того: видитъ только цѣпь несчастій и забываетъ ихъ сопоставлять съ обстоятельствами—съ тѣмъ, отчего и какъ несчастія слагались.

Но я помню. Я не забылъ: *отчего и какъ*? И начинаю разсказывать объ этомъ женѣ. Послѣдовательно.

Отъ батюшки—и до подвала! Я напоминаю ей о мѣсяцахъ питанія одной картошкой... О томъ, въ какихъ углахъ мы жили: развѣ мыслимо работать тамъ, гдѣ за стѣнами и день и ночь шумныя оргіи? Кто видѣлъ мои муки, когда я ломалъ перья, рвалъ бумагу, уничтожалъ написанныя вещи? Кто насильно оттаскивалъ меня отъ стола, когдя я по цѣлымъ ночамъ просиживалъ

около него, а въ головѣ одна мысль: работа Сизифа?

Я долго говорилъ. Шагъ за шагомъ я раскрылъ женѣ нашъ путь—путь *«отъ батюшки—до подвала»*—и жена успокоилась.

— Ну, ладно, довольно дѣдъ. Теперь не боюсь.—Чудилось одно: стоитъ надъ нами темный рокъ и давитъ, и истязуетъ насъ. И жить не хочу. Честное слово! Обидно жить въ такомъ мірѣ, гдѣ такія большія драмы разыгрываются такъ просто, и даже глупо. Глупо? Правду я говорю.

Я подумалъ и смѣялся: смѣялся тѣмъ смѣхомъ, который много видѣлъ, что, дѣйствительно не будь бы въ человѣкѣ столько подлости, глупости и безсердечія—не было бы въ жизни того трагизма, какой имѣется.

Темна и трагична судьба какого нибудь погибшаго человѣка, когда не знаешь исторіи его гибели, но если узнаешь—трагизма никакого; трагизмъ въ завѣсѣ неизвѣстности—откинь эту завѣсу—ясно: *просто, подло, глупо,* давимъ другъ друга.

А всѣ эти три слова объединяетъ одно: Безразличіе, Великое Безразличіе!

Явись самъ Богъ, не грозный и карающій, а милосердный мягко напоминающій: «Опомнитесь! дѣти! Что вы дѣлаете? Обернитесь кругомъ, вглядитесь и вдумайтесь въ то, что вы создали, что называете Жизнью. Напоминаю вамъ,

дѣти, Я—Отецъ вашъ небесный. Задумайтесь дѣти!»

Но «дѣти» не задумаются. Они пройдутъ мимо такого Бога—не грознаго и карающаго, а милосерднаго, ибо у нихъ свой богъ—богъ Великаго Безразличія. Тотъ богъ, для котораго нѣтъ ничего святого; его ничемъ непроймешь: онъ закованъ въ непроницаемую броню. Ударь его въ самое его больное мѣсто—онъ отдѣлается улыбкой, смѣхомъ, местью, клеветой,—чѣмъ угодно, но только не тѣмъ, чтобы задуматься надъ собой.

Онъ—не сомнѣвающійся въ себѣ геній! И для этого генія всѣ, кто только не желаетъ поклониться ему—всѣ роковые люди: всѣхъ постарается раздавить. Какъ? Просто, глупо и подло! Онъ—сатана міра. Тотъ «тать въ нощи», который вкрался *въ ночь мыслей и чувствъ* человѣчества и посѣялъ въ пшеницѣ плевелы.

И я смѣялся надъ этимъ богомъ человѣчества; смѣялся—раздавленный имъ—этимъ богомъ Великаго Безразличія.

Жена слушала. Долго слушала—и поняла:

— Дѣдъ, ты усталъ. Только теперь я поняла, какъ ты усталъ. Боже мой, какъ ты усталъ!

И я сознался. Больно было сознаться ей,—единственной—но я сознался:

— Усталъ, родная, усталъ. Отдохнуть вмѣстѣ съ тобою, около тебя—больше ничего не надо.

И я приникъ головой къ плечу жены.

Такъ мы сидѣли долго и молча. Потомъ улеглись спать. Вмѣстѣ. Два пышущихъ жаромъ тѣла—плотно тѣло къ тѣлу.

Жена ликовала:

— Вотъ это хорошо. Такая спокойная ночь: чувствуя тебя около себя я ничего не боюсь.

И вѣрно: она скоро заснула. А я... я не спалъ. Я подводилъ итоги.

Конецъ! Добила литература!

Припоминались дикіе отвѣты — эти дикіе отвѣты изъ редакцій по поводу одной и той же вещи. Одинъ пишетъ, что разсказъ *слишкомъ фотографиченъ*, другой—разсказъ загроможденъ *искусственными подробностями*! Одинъ пишетъ, что вторая половина разсказа великолѣпна, но первая половина мѣшаетъ ему воспользоваться разсказомъ: она вызываетъ брезгливое чувство.

А другой—первая половина разсказа написана жизненно, даже ярко, но вторая, та, что въ глазахъ перваго *великолѣпна*,—блѣдна и надумана.

Кому вѣрить? Кто болѣе правъ? И сколько такихъ отвѣтовъ? И въ каждомъ мука. И пока до тѣхъ поръ, пока не пришла страшная мысль: «Да полно! Да понимаютъ-ли они искусство? Стоитъ-ли обращать вниманіе на людей, на нищихъ духомъ, у которыхъ на одну и ту же вещь нѣтъ одного мнѣнія?»

Я понялъ—но легче-ли? Колесо нужды, мытарствъ, гибели давило безъ останова. Я понялъ, что одни тамъ—бездарности въ квадратѣ, дру-

гіе — не отнимешь немного истинно художественнаго чутья у кого на грошъ у кого на копѣйку, но и тутъ бѣда: Великое Безразличіе! Какое имъ дѣло до того, при какихъ условіяхъ ты работаешь, что можно создать въ холодѣ, голодѣ, до того, что недугъ ломитъ и геній? Какое имъ до всего этого дѣло? Ты дай имъ Гоголя. Не Гоголя первыхъ его вещей, а того, кто создалъ «Ревизора», «Мертвыхъ душъ». Дай имъ Достоевскаго. Не того, что написалъ «Бѣдныхъ людей», а того, автора «Преступленія и наказанія», «Бѣсовъ», «Братьевъ Карамазовыхъ». Ты дай имъ то, что видитъ слѣпой, а они — они будутъ лѣтъ пять смотрѣть и тогда только нищіе духомъ разсмотрятъ, что за «Бѣдными людьми» и «За вечерами на Диканькѣ» прятались безсмертныя произведенія.

Они взвѣшиваютъ невѣсомое, обнимаютъ необъятное, — они: страдающіе дальтонизмомъ. Оскаръ Уайльдъ говоритъ: «Только великимъ мастерамъ слога удастся быть темными». Но попробуй-ка быть съ ними темнымъ, если ты безъ имени: *не разсмотрѣли* — не взяли; попробуй быть яснымъ—не понравился: не подходишь подъ вкусъ, подъ то, чего моя нога хочетъ. А когда найдется этотъ соотвѣтственный твоему вкусъ?

Ищи его. Надѣйся, а нужда дѣлаетъ свое дѣло.

Ищи и упадешь: гибель и смерть — вотъ награда.

Томила меня литература. Томила. Горящій въ жару мозгъ все остро помнилъ, что я и жена пережили на этомъ пути.

И ощущая горячее тѣло жены около себя — я мысленно передъ нею каялся.

— Родная, зарѣзалъ я тебя. Зарѣзалъ! Въ часы страшной ночи мы живемъ, когда по словамъ кого-то «лучше не родиться, или быть съ душой изъ камня». А я,— безумецъ: образомъ грознаго раздумья я хотѣлъ подняться надъ міромъ въ эти часы ночи. Жилъ, страдалъ и думалъ выработать изъ себя нѣчто такое—читатель тебя и въ глаза не знаетъ, но почиталъ тебя и безпокоиться: чудится ему, что за нимъ всюду высматриваетъ сурово-предостерегающій глазъ. Но безумецъ я, безумецъ, это я думалъ тогда, когда не зналъ, что есть сила — Великое Безразличіе. Зарѣзалъ я тебя, родная. Зарѣзалъ!

А каясь, я инстинктивно жался къ женѣ все тѣснѣе, и такъ до тѣхъ поръ, пока она не проснулась.

— Не спишь, дѣдъ?

— Нѣтъ.

— Почему?

— Не спится.

Тихо гладитъ дорогая рука мои волосы и тихо говоритъ:

— Усталъ ты. Усталъ. Но погоди: можетъ быть еще отдохнешь. Можетъ быть выживешь и отдохнешь: у тебя искусство.

Я смѣюсь.

Искусство? Когда то благоговѣлъ: «этотъ домъ домомъ молитвы нареченъ.» Но узналъ — и не то, не то. И этотъ домъ давно сталъ вертепомъ разбойниковъ мысли. Негдѣ тамъ отдохнуть. Негдѣ! Но гдѣ же еще отдыхъ? На чемъ? Не на томъ-ли, что вотъ тамъ за стѣной—дѣти, у которыхъ маленькая игрушечная лампа — Солнце?! Тысячи лѣтъ прошли, а эти вотъ великія, прекрасныя слова «Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лицо Отца моего небеснаго»— тысячи лѣтъ прошли, а эти слова остаются до сихъ поръ *свидѣтельствомъ* на Великое Безразличіе!

Тихо гладитъ дорогая рука мои волосы — и тихо я говорю:

— Усталъ, родная, усталъ. Раздавленъ Великимъ Безразличіемъ. Много разъ изъ души рвались проклятія этому богу земли — и не вырвались. И хорошо. Такой врагъ не заслуживаетъ проклятія. Будешь умирать — послѣдняя улыбка, улыбка Жалости и Презрѣнія — вотъ все, чего этотъ богъ земли достоинъ.

Засыпаетъ жена, засыпаю, наконецъ, и я.

На слѣдующій день до самаго вечера я лежалъ на постели, какъ пластъ, и удивлялся:

— Родная, ты столько больна и въ силахъ

еще вставать, а я не могу. Неужели я настолько слабѣе тебя?

— Это въ началѣ. Потомъ попривыкнешь.

Поила меня чаемъ.

— Ну, вотъ, дѣдъ, мы и квиты: привелъ Богъ и за тобой поухаживать. И вотъ что: мы должны лечь въ какую нибудь одну больницу. Понимаешь: въ одну. Будемъ навѣщать другъ-друга! Непремѣнно въ одну.

И радовалась, какъ ребенокъ, а потомъ вдругъ усомнилась:

— А если въ одну обоихъ не возьмутъ? Тогда что? Съ этимъ никакъ нельзя помириться: ты не будешь видѣть меня, я тебя. Это невозможно!

Я успокоилъ ее, что попадемъ въ одну:

— Придемъ, родная, и скажемъ: супруги, молъ, сдѣлайте такую божескую милость не разлучайте: примите насъ обоихъ.

— И ты думаешь, что не откажутъ?

— Думаю, что нѣтъ.

Она повѣрила, что «не откажутъ» и, опять радовалась, какъ ребенокъ тому, что «будемъ другъ-друга навѣщать»... А я смотрѣлъ на нее и думалъ: Вотъ она жизнь: такъ мѣняется всѣ понятія о счастьѣ, о радости... Она рада и я радъ; рады грядущему концу, рады возможности слѣдить за умираніемъ другъ-друга!»

Отпили чай. Жена легла вмѣстѣ со мной, — и такъ мы, въ тихомъ забытье, овѣянныя при-

миреніемъ пробыли въ строгомъ молчаніи до вечера.

Но вечеромъ, часамъ къ семи, я уже началъ хмуриться: появлялся приливъ силъ и не чувствовалось никакихъ признаковъ озноба.

А въ восемь часовъ я поднялся съ постели и зажегъ огонь. Жена поднялась вслѣдъ за мной черезъ нѣсколько минутъ.

Поднялась, взглянула мнѣ въ лицо, хотѣла что-то сказать и не могла: я понялъ, что мое лицо искажено тѣмъ тяжко-злымъ страданіемъ при видѣ котораго у жены всегда слова замирали на устахъ.

И чего въ это время у ней по отношенію ко мнѣ было больше — состраданія или боязни — это рѣшить было трудно.

Такихъ случаевъ до этого случая въ нашей жизни было три и, во всѣ три случая — она молчала и я молчалъ, пока со мной не проходило. Но этотъ четвертый случай—его, надломленная болѣзнью, она не вынесла: уткнулась лицомъ въ подушку и тихо, со страхомъ плакала.

А я присѣлъ около нее и долго силился сказать нѣсколько словъ—и не могъ: это страданіе, для выраженія котораго нѣтъ словъ — всѣ слова забываются.

Наконецъ, съ величайшими усиліями мысли, мысли нѣсколько разъ провѣряющей себя, а тѣми-ли словами она выразитъ то, что хочетъ выразить—я съ трудомъ изъ себя выдавилъ:

— Жизнь... опять жизнь... Но тамъ ничего... ничего, родная, кромѣ отвращенія, отчаянія и боли. Пойми меня!

Но она меня или не поняла, или побоялась взглянуть мнѣ въ лицо—плакала и молчала.

Потомъ затихла. А я сидѣлъ—человѣкъ раздавленый тѣмъ, что повѣрилъ въ осуществленіе Чуда: у меня случилась простая лихорадка, то что не случалось со мной рѣдкую зиму, а я принялъ лихорадку за начало той же болѣзни, какъ и у жены—за чахотку и повѣрилъ въ Чудо!

Человѣкъ, раздавленный тѣмъ, что ему вновь приходится, принимать жизнь, тогда когда... когда съ огромнымъ облегченіемъ думалось, что крестному пути—конецъ... нѣсколько мѣсяцевъ медленнаго и спокойнаго умиранія — и конецъ!

Такъ, молча, я сидѣлъ около жены часовъ до одинадцати, а потомъ всталъ, пододвинулъ къ постели жены кресло, поставилъ на него свѣчу, посушилъ надъ лампой ея бѣлье ей на ночь, и двинулся къ своему ложу. Бросилъ на него подушку и прилегъ и ждалъ, когда жена мнѣ скажетъ, чтобы я потушилъ огонь.

Подождала и она, и затѣмъ — тихо обмолвилась:

— Дѣдя, со мною уже больше не ляжетъ?

Опять меня эта просьба уже пугала, опять страшные вопросы: къ чему эта агонія? Лучше оборвать и ея и свою жизнь сразу.»—Но столько въ вопросѣ жены было мольбы, мольбы уже

не взрослаго человѣка, а мольбы замученнаго ребенка, что я покорился.

Молча раздѣлся и молча улегся съ ней. Молча и тупо смотрѣлъ, какъ она передъ сномъ въ теченіе получаса содрагалась всѣмъ тѣломъ и синѣла отъ кашля и отъ труда вывести изъ легкихъ безпокоющую мокроту.

Наконецъ, откашлялась, отхаркалась и, медленно засыпая, благодарно пожимала мнѣ руку и лепетала:

— Вотъ это хорошо. Такая спокойная ночь. Ничего съ тобой не боюсь. Послѣдняя ночь! Послѣдняя ночь, родной.

Утромъ меня разбудила жена:

— Дѣдъ, вези въ больницу.

Рѣшили, чтобы не опоздать, не пить чаю.

Я помогалъ одѣваться женѣ. Это взяло много времени: и слаба она была уже до той безпомощности, когда сама не въ силахъ одѣть ничего, а тутъ еще душилъ кашель.

Наконецъ она одѣта. Одѣваюсь я и встрѣчаюсь съ ея взглядомъ и вижу, что она рада не за себя, а за меня, за то, что мнѣ безъ нее будетъ легче, а рядомъ съ этой радостью такая огромная, неподавимая тоска: какъ то я останусь безъ нее?!

Я бросаю свое пальто на постель и съ минуту стою молча.

Обо мнѣ, всегда думаетъ обо мнѣ! Какъ бы далеко она отъ меня не была—я это чувствовалъ. Странно. Идешь и задумаешься, сидишь и забудешь и вдругъ поймаешь себя, что задумался и забылся отъ чувства: чудится, что надъ моей головой по матерински благословляющая меня рука—рука жены. Одна только рука—ни лица, ни фигуры.

Съ минуту я стою молча—и вдругъ инстинктивно поддаюсь всѣмъ тѣломъ къ женѣ и говорю:

— Тяжело мнѣ будетъ безъ тебя. Тяжело.

Жена хочетъ встать, но безсильна. Важность момента подсказываетъ мнѣ, чего она хочетъ, и я наклоняюсь къ ней—она меня цѣлуетъ долгимъ поцѣлуемъ и тихо говоритъ:

— Борись. На жизнь благословляю, дѣдъ, на жизнь. До конца борись.

А я смотрю ей въ глаза и вижу, что любовь жены мучительно страдаетъ отъ сознанія, что она умретъ, а я останусь; что можетъ быть ее мѣсто замѣститъ какая-нибудь другая женщина—я вижу, что эта любовь только тогда бы не мучилась, когда бы ея избранный одновременно съ нею сошелъ въ могилу, и все-таки, во имя какого-то внутренняго убѣжденія эта любовь ломитъ себя и благословляетъ на жизнь.

Но везти въ больницу жену мнѣ не пришлось. Въ это время пришла къ намъ одна знакомая жены по курсамъ и узнавъ о цѣли нашихъ сбо-

ровъ, высказала, что помѣстить жену въ больницу мнѣ не удастся, такъ какъ больницы страшно переполнены.

Мы съ женой падаемъ духомъ окончательно. Я молчу, жена, готовая заплакать, махаетъ рукой и говоритъ:

— Часъ отъ часу не легче.

Но выручила та-же курсистка: въ одной изъ больницъ у ней былъ знакомъ главный врачъ и она надѣялась, что ей онъ не откажетъ.

Я облегченно вздохнулъ, жена обрадовалась и залепетала какъ ребенокъ:

— Ну, вотъ. Ну, вотъ. И хорошо. Ѣдемъ Юля! Удачно. Очень удачно ты пришла.

Перевела глаза на меня:

— А то, въ самомъ дѣлѣ,—ты только подумай, дѣдя?—что бы мы стали дѣлать, если бы не приняли? Ужасно!

Перевела духъ и опять къ курсисткѣ:

— Онъ у меня такой славный, Юля. Такой онъ у меня хорошій, Юля.

Я въ это время стоялъ около стѣны, прислонившись къ ней спиной и послѣднія фразы жены—неожиданныя, сказанныя уже совершеннымъ тономъ того ребенка, который внезапно дѣлится тѣмъ, отчего онъ счастливъ,—едва не отняли у меня самообладанія: по всему тѣлу побѣжала дрожь, спазмы давили горло, подгибались колѣни.

Болѣе чѣмъ когда-либо мнѣ стало ясно, ка-

кую большую и прекрасную душу я утрачиваю въ лицѣ этой маленькой женщины и, какъ никогда—страшный моментъ сознанія, что горе и муки жизни у иныхъ душъ не въ силахъ измѣнить ихъ сердца до могилы.

Припомнилась вся жизнь, то, чего я никогда не могъ понять: какъ такая маленькая женщина способна была пережить нѣчто похожее на сплошной кошмаръ—отъ дней юности и до жизни со мной,—и не пасть подъ нимъ, а подняться, закалить себя до характера, передъ которымъ я тоже недоумѣвалъ: женщина и такое «желѣзо»?..

И что же въ награду?

Большая душа прошла непосильно-крестный путь и ни одна капля изъ выпитой ею огромной чаши жизненной горечи не замутила свѣтлой глубины этой души.

Все цѣло, все сохранено, чистоты и благоуханія цвѣтовъ души не въ силахъ была забрызгать грязью и отравить своимъ зловоніемъ, жизнь—и нѣтъ награды: не было отдыха, такого кратковременнаго отдыха, который примиряетъ съ пережитымъ, не было тихой радости души, когда бы она безъ боязни, безъ трепета заглянула въ грядущій день и могла-бы сказать: «Благословенна жизнь!»

Не было отдыха—онъ все гдѣ-то чудился впереди; и такъ до тѣхъ поръ—пока на лицо не явилась смерть.

Пройденъ Крестный Путь—для чего? Величайшій ли это обманъ, гдѣ награда, кромѣ могилы и червей—ничего, или... Предверіе къ Величайшему Вознесенію?

Такъ страстно хотѣлось вѣрить: «къ Вознесенію!».

Чтобы скрыть дрожь, сохранить внѣшнее самообладаніе я жадно закурилъ папиросу.

И жена сейчасъ же къ этому придралась:

— Вотъ, вотъ, Юля, видишь: онъ куритъ! Онъ дымитъ. Онъ портитъ воздухъ. А мнѣ это полезно?

Для нее было важно не куреніе, не дымъ, да и дыму не было: я его выпускалъ черезъ спеціально для этого продѣланное въ перегородкѣ отверстіе въ кухню, надъ чѣмъ жена раньше улыбалась и просила курить въ комнатѣ и не бѣгать къ этому отверстію—для нее важно и обидно оказалось то, почему ни я, ни курсистка ни единымъ звукомъ не раздѣлили ея восторга, что «онъ у нея такой славный, такой хорошій».

Когда она говорила объ этомъ «славномъ», ея глаза искрились отъ счастья, теперь въ нихъ свѣтилось и обиженное и раздраженное недоумѣніе: «Какъ они этого не могли понять? Въ особенности, такъ всегда хорошо понимавшій ее мужъ?»

А поэтому онъ долженъ быть и наказанъ!

И она начала жаловаться:

— Юля, онъ куритъ! (Я уже и папироску затушилъ). Онъ обо мнѣ совершенно не заботится. Совершенно забываетъ. Юля, онъ куритъ? а? Ты подумай...

Курсистка натянуто улыбалась: ее давили и этотъ подвалъ и состраданіе къ больной.

Улыбался такой же улыбкой, какъ и курсистка, и я: улыбкой, видящей вспышку ребенка.

Улыбался и видѣлъ, что этотъ гнѣвъ для того, чтобы смѣниться на милость.

Курсистка встала:

— Ну, пора. А не то опоздаемъ.

Я взялся за свое пальто, но жена быстро остановила?

— Нѣтъ, нѣтъ, дѣдъ! Ты оставайся. Сегодня морозъ. А пальтишко, надо сказать, у тебя дрянь: промерзнешь до костей. Сиди-ка лучше дома. Мы и съ Юлей доѣдемъ.

Помолчала.

— Ахъ, дѣдя: я плоха, но и ты не цвѣтешь.

Я бросилъ свое пальто и подошелъ къ ней, помогая ей подняться. И видя ея страшную слабость, зловѣщую остроту всего лица—почувствовалъ, что смерть ея не за горами: самое большое два-три мѣсяца.

Поцѣловались. Большая любовь, любовь матери съ огромной тоской брызнула на меня изъ ея глазъ? «Какъ онъ можетъ быть безъ меня?..»

Я всунулъ въ руку жены рубль и чуть слышно бросилъ:

— Родная, это пока тебѣ на расходы.

Жена опустила рубль въ карманъ молча.

Тронулись. Одежда ее тяготила, голова, укутанная въ большую шаль, пыталась обернуться назадъ и не могла.

А обернуться хотѣлось. И сдѣлавъ нѣсколько слабыхъ, но безуспѣшныхъ попытокъ, она съ досадой мотнула головой и заявила:

— Юля, не могу на тебя посмотрѣть. Вотъ какая я дохлая лошадь. Да. Но ты, Юля, не думай, что я давеча на дѣда своего въ серьезъ. Въ жизни неповорчать немыслимо. Онъ у меня славный малый. Ей Богу.

А Юли и не было: она вышла раньше, чтобы взять извозчика.

Въ выходѣ изъ подвала хозяйка свѣтила намъ лампой.

При моей помощи и помощи хозяйки жена кое-какъ осилила крутыя ступени выхода, но на послѣдней задохнулась и присѣла.

Я стоялъ передъ ней безъ пальто, въ одной рубашкѣ. Это ее привело въ ужасъ. Но не могла говорить: жадно хватала воздухъ ртомъ и махала рукой, чтобы я ушелъ.

Я стоялъ и говорилъ, что провожу ее до извозчика и тогда уйду; она, наконецъ, набралась силъ и сказала:

— Съ мѣста не сдвинусь, пока не уйдешь. Не мучай меня.

Подходила курсистка. Еще разъ я взглянулъ на жену и пошелъ въ свою яму съ убѣжденнымъ чувствомъ, что смерть жены близка.

Первое, что мнѣ бросилось въ глаза въ моей комнатѣ—это ея постель. Я присѣлъ около постели и застылъ.

Это не было просто отчаяніе,—это была летаргія отчаянія: отчаяніе, ради отчаянія.

Постель была въ безпорядкѣ: въ ногахъ скомканы одѣяла, простынь, обнажая жалкій, залитый потомъ, соломенный матрацъ, сползла на полъ, подушки смяты.

Росла мука: «И вотъ тутъ-то лежала она дни и ночи... цѣлый мѣсяцъ. Покорно: безъ врача, безъ лекарствъ. Одинъ мѣсяцъ — и гибель, смерть».

Потомъ исчезли изъ виду подушки, матрацъ, одѣяло—видѣлся только тотъ страшный образъ, когда жена стояла на этой постели на колѣняхъ и молила, протягивая руку ко всему огромному городу: «Дайте мнѣ здоровья!»

Такъ я сидѣлъ—сколько времени?—развѣ отдашь себѣ отчетъ въ этомъ?

Сидѣлъ неподвижно. Потомъ почему то запустилъ руку въ волосы и вынулъ—между пальцами осталось много волосъ; запустилъ еще—еще больше. Съ недоумѣніемъ я посмотрѣлъ на эти невырванныя, а вылѣзшія волосы, стряхнулъ ихъ на полъ и вдругъ ощутилъ такую внутреннюю пустоту, такой холодъ, такую безотчетность, гдѣ, казалось, кромѣ нечего ужъ дѣлать, какъ—

сидѣть, запускать руку въ волосы, вынимать и наблюдать, какъ они отдѣляются отъ руки и летятъ на полъ.

Кромѣ этого нечего дѣлать!

И за такимъ дѣломъ меня застала вернувшаяся курсистка. При видѣ ея—я внезапно почувствовалъ ужасъ страшнаго одиночества. Боль одиночества была знакома и раньше до встрѣчи съ женой, но тогда она была въ иныхъ формахъ: всегда сознавалось, что міръ великъ своимъ многолюдствомъ—но это многолюдство само по себѣ, а я самъ по себѣ.

Одиночество еще гордое: міру нѣтъ дѣла до меня, и мнѣ нѣтъ дѣла до міра.

Но теперь не то. Сломился человѣкъ. Явилось чувство, точно весь міръ, кромѣ меня и этой дѣвушки—курсистки—пустыня. И такъ страшно было думать, что вотъ она уйдетъ, затеряется, а я буду бродить по пустынѣ и никогда, никогда съ ней не встрѣчусь!

Вотъ оно это дикое одиночество, когда человѣкъ чувствуетъ себя, что онъ на землѣ одинъ.

И припоминаю я, что эта курсистка прошла вмѣстѣ съ женой всю гимназію; и гимназія представлялась странно: ни преподавательскаго персонала, ни учениць,—онѣ только двѣ—сидѣли невѣдомо зачѣмъ въ одномъ какомъ-то зданіи много лѣтъ, а потомъ почему то разошлись.

И вотъ, жены уже нѣтъ. Я ее уже никогда не увижу. Никогда. Но вотъ эта дѣвушка еще

здѣсь: безумно-дорогая только потому, что она вмѣстѣ съ женой была въ гимназіи.

Курсистка быстро ходила по комнатѣ, потирая руки и говорила:

— Ну и холодина. Такой холодина: до самого сердца промерзла.

А я, не отрывая отъ ея фигуры глазъ, слѣдилъ за ней и переживалъ моменты полные щемящаго и трепещущаго страха: казалось, что вотъ-вотъ она исчезнетъ.

Моментально.

И порывало молить:

— Знаете: я такъ усталъ. Такъ я усталъ. Не уходите отъ меня. Ради всего святого не уходите! Останьтесь здѣсь. Со мной останьтесь!

Потомъ курсистка спохватилась:

— Ахъ, да, чуть не забыла!

И тянула мнѣ рубль.

Я не понималъ.

— Это зачѣмъ?

— Это вамъ жена вернула. Сказала, что она пока обойдется и безъ денегъ. А потомъ, у насъ есть «кружокъ землячества», я изъ него для нее немного достану.

Я молча взялъ рубль, положилъ его на столъ и... мгновенно пришелъ въ себя.

— Какъ ваши успѣхи въ литературѣ?—спросила курсистка не столько изъ любопытства, сколько отъ неловкаго чувства при молчаніи.

Я холодно усмѣхнулся.

— Плохи. Мнѣ, вѣроятно, легче войдти въ царствіе небесное, чѣмъ въ этотъ міръ.

Порывало сказать про эту *литературу* кое-что и еще, но любилъ, любилъ я еще это болото и больно мнѣ было его порицать передъ мало знакомой мнѣ дѣвушкой.

И я ограничился тѣмъ, что отмахнулся только рукой.

Курсистка столько, сколько изъ приличія слѣдуетъ помолчать, помолчала и заявила:

— Да, кое-что на счетъ вашей жены. Докторъ сказалъ мнѣ, что она на него не произвела впечатлѣнія безнадежной.

— Не вѣрю,—бросилъ я убѣжденно.—Утѣшаетъ, или ошибается. Но мнѣ себя не обмануть: чувствую, что ея пѣсенка спѣта.

— Вотъ еще. Просто вы напуганы, а потому и смотрите такъ пессимистично.

А потомъ:

— Ну, до свиданья. Пора бѣжать.

Мнѣ хотѣлось уже просто сказать:

— Если надумаете заглянуть ко мнѣ въ свободное время—буду радъ.

Но я подавилъ въ себѣ и эти слова. Молча простился. Падай человѣкъ одинъ! Если тебя раздавили—къ чему просьбы о маленькомъ сочувствіи, какъ о милостынѣ?

По уходѣ курсистки я вынулъ изъ стола кошелекъ: въ наличности 60 копѣекъ. Долго смотрѣлъ на возвращенный женою рубль: и тотъ отняла у себя и отдала мнѣ!

Вставалъ вопросъ:

— Что дѣлать?

Не черезъ мѣсяцъ, не черезъ недѣлю, не завтра—а вотъ сейчасъ: опять наростаютъ пустота, холодъ, безотчетность.

И какъ всегда—достаю пачку писемъ жены и жадно ухожу въ нихъ.

Страшно читать. Прошлое не забывалось и не забудется, но воскрешать его до мельчайшихъ подробностей?

Но не читать еще страшнѣе: немыслимо отдаваться въ полную власть внутренней пустоты. Лучше боль, чѣмъ она.

И я читаю. Наконецъ, дохожу въ одномъ изъ писемъ до такого письма.

«Дѣдъ. Ты падаешь духомъ? Крѣпись, родной. Ты мнѣ писалъ—вотъ это твое письмо я тебѣ цѣликомъ и привожу. Можетъ быть, оно тебя и подбодритъ. Вотъ оно:

«Въ минуты, когда у тебя упадокъ духа и силъ, не отдавайся, родная, тому, отчего ты падаешь; то отчего ты падаешь—вѣдь уже ясно; къ чему думать о немъ? Не лучше ли вдуматься въ себя: какъ пережить это и во имя чего? Пойми: желѣзные характеры ломаются не оттого, что они сломлены, а оттого, что подъ

упадкомъ духа и силъ теряютъ изъ виду то, что надо преодолѣть. Если ни на минуту не будешь терять изъ виду этого—значитъ обрѣтешь въ себѣ силы. Какія? Ихъ, родная, въ человѣкѣ не одна. Ненависть—сила; презрѣніе—вдвое сильнѣе ненависти, а Любовь сильнѣе двухъ первыхъ взятыхъ вмѣстѣ. Что тебѣ А, Б, В, Г, Д, и т. д., если ты любишь весь міръ? Два-три десятка людей подавали тебѣ вмѣсто хлѣба камни и вмѣсто рыбы скорпіона—стоятъ ли эти десятки того, чтобы ради нихъ отказаться отъ Любви ко всему міру? Родная, въ немъ мало Любви! Если ужъ мы не боги—воздадимъ своимъ врагамъ той мѣрой, какой отмѣрили намъ, но не утратимъ Любви къ міру. Презирай достойнаго презрѣнія, ненавидь достойнаго ненависти, если уже не можешь любить такихъ, но не забывай того, что въ мірѣ мало Любви. Внести въ него частицу своей любви, какая будетъ по силамъ каждому человѣку—вотъ задача каждаго человѣка. Больно—сожми до боли зубы; падаешь—пытайся встать. Если раскрываютъ передъ тобою бездну презрѣнія и возводятъ на высоту ненависти—не бойся: смотри въ бездну презрѣнія и стой на высотѣ ненависти и ищи въ себѣ великихъ словъ Любви. Глубокихъ, какъ сама

Любовь, яркихъ, какъ зарево пожара, гулкихъ, какъ набатъ. И ради этой задачи—нѣтъ надеждъ: создай ихъ! Погасъ одинъ свѣтъ и темно-темно впереди — зажги другой! Будь, родная, бодра. Твой дѣдъ».

Когда я прочелъ, когда то написанныя мной строки, я на моментъ было загорѣлся:

— Ха, ха, ха, «Братья-писатели!» Шелъ я къ нимъ робко, благоговѣйно: показали мнѣ журавлей въ небѣ, а я вообразилъ, что «у братьевъ-писателей» они и въ рукахъ имѣются. Оказалось не то. Ошибся жестоко. Пришелъ, посмотрѣлъ и убѣдился: куда имъ до Журавлей—сами-то безъ Синицы въ рукахъ живутъ. Но за то узналъ, что у нихъ есть нѣчто другое: Великое Безразличіе. Вотъ оно обманываетъ читателя и братьевъ писателей: читателю кажетъ журавля въ небѣ, а писателю не даетъ и Синицы въ руки. Нѣтъ, не сдамся. До конца не сдамся!

Но прошелъ этотъ моментъ—взглянулъ я на кучу своихъ рукописей—и погасъ; меня подавило чувство, точно я былъ въ положеніи человѣка, котораго поставили передъ Альпами и требовали:

«Сдвинь горы!»

Давило безсиліе. Ибо отняли большую силу въ лицѣ маленькой женщины: скоро изсякнетъ источникъ, откуда я пилъ Живую Воду. Изсякнетъ онъ, что въ жизни останется: меркнетъ

любовь къ міру, теменъ и страшенъ весь міръ—ясны въ немъ только два человѣка. (Разумѣю публициста Б. и писателя З.). Но развѣ я уже не напуганъ? Развѣ, когда иду къ З. не испытываю мучительнаго страха: а вдругъ и этотъ отшатнется? Развѣ не знаю тяжести: тянетъ взглянуть только на дорогое лицо—и не идешь: а вдругъ вообразитъ, что я опять со своими горестями, и я это замѣчу? Замѣчу—и это значитъ: похоронить послѣднее. Вотъ Б. тянетъ посмотрѣть и на него—и не иду, ибо боюсь похоронить и этого.

Я легъ на свое ложе съ торчащей, острой пружиной и закрылъ глаза: немыслимо казалось жить не только послѣ жены, но и дотянуть до ея конца. «Немыслимо»—это только казалось, а въ глубинѣ души—это я уже твердо чувствовалъ, что до конца жены я дотяну. Буду день голодать, день жить на фунтъ чернаго хлѣба, буду ютиться не въ подвальной комнатѣ, а гдѣ нибудь въ углу за два-три рубля въ мѣсяцъ—но до конца жены дотяну.

Потомъ я уже ни о чемъ не думалъ. Лежалъ и ничего не хотѣлъ, кромѣ тишины; глубокой, ничѣмъ ненарушимой тишины.

Въ подвалѣ была тишина. Но этой тишины было мало и всѣмъ существомъ своимъ я молилъ: «Тишины. Полной тишины!»

Но такая тишина не приходила, да и не могла придти, ибо жаждалъ я невозможнаго:

глубокой, ничѣмъ *даже внутренно* ненарушимой тишины.

Тогда я хотѣлъ другого.

Воздухъ моей комнаты давилъ меня; выйдти на улицу—тоже самое. Весь міръ душенъ, кромѣ одной атмосферы: безумно соблазнительная сила чудилась въ пьяномъ угарѣ грязныхъ кабаковъ, въ тайныхъ притонахъ, въ домахъ терпимости.

Казалось, что только въ такихъ мѣстахъ я забудусь, найду забвеніе всему, отъ чего непосильно жить *).

На дворѣ наступили легкія сумерки, а у меня уже вечерѣло. А я все лежалъ, лежалъ съ закрытыми глазами и думалъ о томъ: у кого бы достать денегъ на то, чтобы хоть пока ночь, ночь пожить *въ нужной атмосферѣ*.

Чтобы хоть провѣрить себя: полегчаетъ-ли тамъ, или нѣтъ?

У кого?

Вставали Б. и З. И впервые, какъ другіе люди, отошли и они. За что я люблю? И тотъ и другой знали о моемъ положеніи съ больной жёной въ подвалѣ—и помогли-ли. Заглянули-ли? Сказали-ли хоть одно слово настоящаго человѣческаго сочувствія? Нѣтъ. Мой ужасъ отъ нихъ былъ далекъ, ибо я имъ чужой. Какова же моя любовь къ человѣку? Мнѣ

*) Братья-писатели, въ нашей судьбѣ,
Что-то лежитъ роковое...
Хорошъ рокъ?!

иногда кинутъ маленькую милостыню и, если мнѣ кинутъ ее безъ косого взгляда—я ставлю человѣка неизмѣримо выше, чѣмъ его слѣдовало бы поставить.

Я гордо вынесъ ужасъ: ни одинъ изъ этихъ любимыхъ людей не услышалъ отъ меня жалкой жалобы, какъ я падалъ отъ ужаса. Ни одинъ. И ни одинъ не далъ мнѣ почувствовать, что они чувстуютъ мой ужасъ, ибо я имъ чужой.

Этотъ родъ моихъ размышленій нарушилъ приходъ одной дамы.

Полная, упитанная до того, что я удивился какъ она могла пролѣзть «въ лазъ» ко мнѣ, богато одѣтая, красивая—она явилась ко мнѣ, какъ сказочная фея *).

Явилась она собственно спасать жену: услышала отъ кого-то изъ курсистокъ; явилась и сразу наобѣщала всяческихъ благъ. Жалѣла, что жену отправили въ неважную больницу, она устроила бы поддержку и леченіе въ домашней обстановкѣ. Просила меня не унывать: она выручитъ меня и жену. Тонъ таковъ, что на благотворительность она разсчитываетъ большими средствами.

И когда она уходила, я... вяло поблагодарилъ.

Мнѣ ли вѣрить въ благія обѣщанія?

*) Эта дама въ дальнѣйшей моей жизни сыграла немалую роль; наименованіе «феи» по ея тактикѣ къ ней очень подходяще и это наименованіе я оставлю за ней и впредь.

Вслѣдъ за ней... изъ редакціи прислали 25 рублей.

Кто-то поздно соблаговолилъ пожертвовать.

И въ первый моментъ я за эти деньги ухватился, чтобы пожить на нихъ въ туманящей мнѣ голову атмосферѣ.

Но припомнился рубль присланный женой, припомнился и далъ мнѣ понять, что пока жива эта женщина, я по такой наклонной плоскости при ней не покачусь.

Что будетъ послѣ ея смерти—это время покажетъ, а пока... дни скорби, дни святой скорби для меня!

~~~~~~

P. S. Читатель. До смерти жены проходятъ еще нѣсколько лицъ связанныхъ съ моею судьбою и съ судьбою жены, но я нарушаю послѣдовательность своихъ записокъ: эти лица пройдутъ впереди.

О смерти жены я кратко выскажусь нѣсколько преждевременно, ибо мнѣ тяжело заносить въ эту книгу такъ много людского безсердечія, издѣвательства.

Жена умерла черезъ мѣсяцъ.

Больничная обстановка была для нея легче подвала. Съ первыхъ же дней въ больницѣ она начала питать надежду, что она выживетъ, подбодряла меня, но за недѣлю до смерти пришла къ заключенію, что все для нее кончено.
~~~~~~

Просто и спокойно сказала мнѣ:

Дѣдъ, не хочу жить: умирать хочу. И чѣмъ ни скорѣе—тѣмъ лучше. Если бы даже и допустить, что я могу поправиться—на это нужны большія средства и года три четыре времени. Года три-четыре—и киснуть такъ? Нѣтъ, если сломлено твое оружіе — здоровье, значитъ сдавайся: умирай!

Помолчала и съ тихимъ свѣтомъ въ глазахъ:

— Надю все во снѣ вижу. Милый нашъ ребенокъ!

Я заплакалъ.

Я никогда не плакавшій отъ ужаса жизни—плакалъ отъ величія духа.

Она меня попыталась остановить — *строго* сказала:

— Дѣдъ, не мучай меня.

Но я не могъ не мучить. Ея свѣтлое лицо мутилось страданіемъ—мои слезы поднимали въ ней то, съ чѣмъ она уже нашла силу примириться, съ тѣмъ, что я останусь безъ нее одинъ,—и умоляюще меня просила:

— Не мучай меня. Родной, прошу тебя: не мучай.

Но я не могъ не мучить. Я неудержимо плакалъ отъ величія духа. Оттого, чего такъ мало въ жизни.

К-во „Современныя Проблемы".

Москва, Садовники, д. 16. Тел. 177-14.

I. Отдѣлъ научный и научно-общественный.

К. Валишевскій. Иванъ Грозный. Большой роскошно изданный томъ. Ц. 3 р. въ полукожан. перепл. 4 р.

Д-ръ Н. Котикъ. Непосредственная передача мыслей. Экспериментальное изслѣдованіе. Цѣна 1 руб.

Поразительные выводы автора открываютъ новые, въ настоящее время почти необозримые горизонты.
März, № 14, 1909 (Dr. Bergmann).

Проф. Зигмундъ Фрейдъ. Психопатологія обыденной жизни. Содержаніе: Забываніе собственныхъ именъ. Забываніе иностранныхъ словъ. Забываніе именъ и словосочетаній. О воспоминаніяхъ дѣтства и о воспоминаніяхъ, служащихъ прикрытіемъ. Обмолвки. Очитки и описки. Забываніе впечатлѣній и намѣреній. Дѣйствія, совершаемыя по ошибкѣ. Симптоматическія и случайныя дѣйствія. Ошибки. Комбинированныя дефектныя дѣйствія. Детерминизмъ. Вѣра въ случайности и суевѣрія. Общее замѣчаніе. Цѣна 1 руб.

Проф. Эрнстъ Махъ. Принципъ сохраненія энергіи. Цѣна 30 к.

Проф. Максъ Ферворнъ. Естествознаніе и міросозерцаніе.—Проблема жизни (Двѣ лекціи). Ц. 50 к.

Его-же. Вопросъ о границахъ познанія. Цѣна 30 к.

Достоинство брошюры—въ большомъ мастерствѣ популярнаго изложенія. (Р. Вѣд. 1909 г. №).

Проф. Оппенгеймъ. Воспитаніе и нервныя страданія дѣтей. Ц. 30 к.

Докладъ заслуживаетъ широкаго вниманія интеллигентныхъ родителей. (Д-ръ Капланъ).

Марія Лишневская. Половое воспитаніе дѣтей. 2-е изд. Ц. 30 к.

Брошюра Маріи Лишневской можетъ сослужить всему человѣчеству громадную пользу. (Утро Россіи).

Элленъ Кей. Мать и дитя. Цѣна 30 коп.

Небольшую работу Элленъ Кей мы горячо рекомендуемъ вниманію нашихъ читателей. Брошюра написана сжато, конспективно, но очень живо и ярко. Переводъ сдѣланъ хорошимъ, вполнѣ литературнымъ языкомъ.
(Рѣчь, 13 окт. 1908 г.).

Проф. Паоло Мантегацца. Современныя женщины. 2-е изд. Цѣна 1 руб.

I. П. Мюллеръ. Новѣйшая гигіена (распрод.).

Проф. Максъ Ферворнъ. Докторъ медицины и философіи, профессоръ физіологіи и директоръ физіологическаго института Геттингенскаго У-та. **Собраніе сочиненій.** Авторизованный переводъ подъ редакціей, съ предисловіемъ и примѣчаніями профессора Моск. У-та Г. А. Кожевникова.

Т. I. **Общая физіологія.** Основы ученія о жизни. Выпускъ первый. Ц. 2 р. 50 к. въ перепл. 3 р. томъ II. **Общая физіологія.** Выпускъ второй. Ц. 2 р. 50 к. въ пер. 3 р. томъ III. **Общая физіологія.** Выпускъ третій. (печ.).

Внимательно прочитавшій «Общую физіологію» читатель обогатитъ себя громаднымъ запасомъ фактическихъ знаній, которыя будутъ восприняты постепенно, безъ особаго труда, несмотря на то, что многіе затронутые вопросы весьма сложны.

Изъ предисл. проф. Г. А. Кожевникова.

Проф. Максъ Ферворнъ. Рѣчи и статьи. Съ предисловіемъ проф. Моск. Университета Г. А. Кожевникова. Ц. 2 руб.

Статьи Ферворна всѣми прочтутся съ большимъ интересомъ и пользою. Переведена и издана книга хорошо. (П. С-овъ. Р. Вѣдомости).

П. Эрлихъ и С. Хата. Экспериментальная химіотерапія спириллезныхъ заболѣваній. Цѣна 1 р. 25 к.

Д-ръ Симонъ. Гигіена женщины. Съ предисловіемъ Проф. Моск. У-та Н. И. Побѣдинскаго. Цѣна 1 р. 50 к. (печат.).

Проф. Францъ фонъ-Винкель. Общая гинекологія. Перев., разрѣш. автор. Съ предисловіемъ проф. Моск. У-та Н. И. Побѣдинскаго Цѣна 3 р. въ переплетѣ 3 р. 50 к.

Затронутые опытнымъ и авторитетнымъ профессоромъ вопросы въ изложеніи, вполнѣ доступномъ и не спеціалисту, дѣлаютъ «Общую гинекологію», въ большей ея части интересной и поучительной не только для врача, но и для всякаго образованнаго человѣка. (Изъ предисл. проф. Н. Побѣдинскаго).

Д-ръ С. Рабовъ. Проф. Лозаннскаго У-та. Карманная рецептура и фармакопея. Пособіе при прописываніи лекарственныхъ веществъ для врачей и студентовъ. Переводъ съ 41-го дополненнаго и исправленнаго нѣмецкаго изданія подъ редакціей магистра фармаціи И. И. Кальнинга съ предисловіемъ проф. Имп. Моск. У-та Н. Ѳ. Голубова. 2 изд. Цѣна 1 руб.

Д-ръ I. фонъ-Гейтлеръ. Проф. физики Пражскаго У-та. Электромагнитныя колебанія и волны. Перев., разрѣш. авторомъ, подъ редакц. и съ предисл. лаборанта Имп. Техн. Учил. Б. С. Швецова (печат.).

II. Отдѣлъ художественной критики.

Фридрихъ Куммеръ. О смѣнѣ литературныхъ поколѣній и литературн. кумировъ. Перев. подъ ред. и съ предисл. П. С. Когана. Ц. 25 коп.

В. М. Фриче. Отъ Чернышевскаго къ «Вѣхамъ». Цѣна 40 коп.

В. М. Фриче. Торжество пола и гибель цивилизаціи. (По поводу книги Вейнингера «Полъ и характеръ»). Цѣна 55 коп.

Людвигъ Зерингъ. Метерлинкъ, какъ философъ и поэтъ. Цѣна 60 коп.

Метерлинкъ, какъ философъ внутренней жизни.— Міросозерцаніе Метерлинка. — Стихотворенія и первыя драмы. — Драмы философа жизни.—Метерлинкъ, какъ теоретикъ искусства.

Книга Зеринга прочтется съ большимъ интересомъ русскими поклонниками Метерлинка, тѣмъ болѣе, что наша критическая литература о немъ совсѣмъ не велика.

(«Одесское Обозрѣніе»).

Гальфданъ Лангаардъ. Оскаръ Уайльдъ. Его жизнь и литературная дѣятельность. 2-ое изданіе. Цѣна 40 коп.

Предлагаемая книга стремится дать возможно болѣе полное изображеніе захватывающей по своей трагичности жизненной судьбы Оскара Уайльда. До сихъ поръ въ литературѣ нѣтъ всеобъемлющей картины личности поэта во всемъ его величіи и слабости, и эта книга вызоветъ, несомнѣнно, къ нему интересъ во всѣхъ слояхъ нашего общества.

Германъ Эссвейнъ. Августъ Стриндбергъ. Опытъ психологической характеристики. Ц. 40 к.

Критическій очеркъ Эссвейна можетъ быть прочитанъ съ пользою всѣми, кто интересуется эволюціей творчества Стриндберга. («Русскія Вѣдомости»).

Ю. Бабъ. Бернаръ Шоу, какъ писатель и художникъ. Цѣна 50 коп.

Эдуардъ Замакоисъ. Бласко Ибаньесъ. Критическій очеркъ. (печ.).

Михаилъ Тригоринъ. Проблема пола и «Санинъ» Арцыбашева. 2-ое изданіе. Цѣна 35 коп.

Нашумѣвшій романъ Арцыбашева возбудилъ всеобщее вниманіе русскаго общества. Въ предлагаемой книжкѣ авторъ разсматриваетъ его, какъ одну изъ попытокъ разрѣшенія полового вопроса, и наглядно доказываетъ полнѣйшую ея неудачу.

III. Отдѣлъ художественной литературы.

Артуръ Шницлеръ. Юный Медартъ. Цѣна 1 руб.

М. Ленгіель. Тайфунъ. (распродано).

Я. Гординъ. Убой. Цѣна 50 коп.

М. Бертинъ. Жить надо (разсказы). Ц. 1 р.

Западные Сборники. Книга первая.

Содержаніе: *Томасъ Маннъ.* Gladius Dei. *Гансъ фонъ-Каленбергъ.* Горбунъ. *Гуго фонъ-Гофмансталь.* Сказка. *Яковъ Вассерманъ.* Старикъ. *Петеръ Альтенбергъ.* Революціонеръ. *Феликсъ Голлендеръ.* Пріемышъ. *Іоганнъ Шлафъ.* Другая. Ц. 1 руб.

Западные Сборники. Книга вторая.

Содержаніе. *Клара Фибигъ.* Святой. *Яковъ Вассерманъ.* Королева Іоанна Кастильская. *Георгъ Гиршфельдъ.* Въ чужихъ рукахъ. *Гергартъ Гауптманъ.* Изъ путешествія въ Грецію. *Іоганнесъ Іензенъ.* Луизонъ. *Томасъ Маннъ.* Женщина. *Э. фонъ-Кейзерлингъ.* Деревня. *Зигфридъ Требичъ.* Конецъ свѣта. Ц. 1 руб.

Германъ Зудерманъ. Розы. Тетралогія.

Содержаніе. Лучи солнца. Марго. Прощальный визитъ. Принцесса. Ц. 1 руб.

„Библіотека Современныхъ Проблемъ".

При ближайшемъ участіи **Ю. И. Айхенвальда, Ю. А. Веселовскаго, П. С. Когана и В. М. Фриче.**

Приступая къ изданію настоящей библіотеки, к-ство **„Современныя Проблемы"** задается цѣлью ознакомить русскую читающую публику съ лучшими образцами творчества западно-европейскихъ писателей, при чемъ главное вниманіе будетъ удѣлено одной изъ высшихъ формъ литературнаго творчества: **роману**. Каждый томъ будетъ снабженъ критическимъ очеркомъ, посвященнымъ данному писателю.

Книга I. **Германъ Гессе.** Петеръ Каменциндъ. Романъ. Переводъ съ 50-го нѣм. изд. съ крит. очеркомъ Ю. И. Айхенвальда. Цѣна 1 руб.

«Все это разсказано у Гессе красиво, поэтично, съ любовью и лаской, и во всемъ этомъ такъ много человѣческаго содержанія и той внутренней жизни, которая гораздо реальнѣе жизни внѣшней».

Изъ предисловія Айхенвальда.

«Романъ этотъ овѣянъ чарами своеобразнаго и властнаго лиризма...Онъ нерѣдко заставляетъ думать о Гамсунѣ. Тотъ же лиризмъ и чисто субъективное настроеніе, тотъ же паѳосъ и свободная непринужденность манеры, допускающая смѣлыя обращенія и неожиданныя отступленія. По-гамсуновски вдохновенны нѣкоторыя картины природы. Много тонкаго и поэтичнаго».

(Викторъ Гофманъ. «Рѣчь» 1910, № 45).

Книга II. **Колетта Иверъ.** Королевы науки. Романъ. Съ критическимъ очеркомъ П. С. Когана. Перев. съ 34-го франц. изд. Цѣна 1 р. 50 к.

«Прекрасный романъ Колетты Иверъ о страданіяхъ боровшейся и побѣжденной женщины-личности—новый документъ, свидѣтельствующій о безсиліи современнаго общества разрѣшить стоящія передъ нимъ проблемы».

Изъ предисловія Когана.

«Романъ читается съ интересомъ и отвѣчаетъ на нѣкоторые вопросы современности».

(«Утро Россіи», 1910, № 108).

Книга III. **Ж. Рони.** Въ сѣтяхъ жизни. Романъ Съ крит. очеркомъ Ю. И. Айхенвальда. Цѣна 1 р. 50 коп.

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.

Германа Банга.
При ближ, уч. А. Левинсона и В. М. Фриче.

Бьернстьерне-Бьернсона.
При ближайшемъ участіи М. и Е. Благовѣщенскихъ
Ю. А. Веселовскаго, А. и П. Ганзенъ.

Томаса Гарди.

Густава афъ-Гейерстама.
При бл. уч. М. и Е. Благовѣщенскихъ, Ю. Веселовскаго.

Бласко Ибаньеса.
При ближайшемъ участіи З. Венгеровой, М. Ватсонъ
и В. М. Шулятикова.

Маріи Конопницкой.
Авторизованный переводъ.

Генриха Манна.
При ближ. участіи Виктора Гофмана и В. М. Фриче.

Томаса Манна.
При бл. уч. Я. Бермана, Ю. Спасскаго и др.

Леона Переца.
Авторизованный переводъ.

Владислава Реймонта.
Авторизованный переводъ.

Михаила Сивачева.

Августа Стриндберга.
При ближ. уч. М. и Е. Благовѣщенскихъ, Зин. Венгеровой, Ю. А. Веселовскаго А. и П. Ганзенъ и В. М. Фриче.

Проф. Макса Ферворна.
Авторизованный переводъ.

Шоломъ Алейхема.
Авторизованный переводъ.

Бернара-Шоу.
При ближ. участіи В. Мировичъ, Л. Никифорова и
В. Шулятикова.

Жоржа Экоута.
Авторизованный переводъ.

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА.

ГЕНРИХЪ МАННЪ.

Полное собраніе сочиненій. 10 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	**Діана.** Богини или три романа герцогини Асси. Ч. I. Переводъ и предисловіе прив.-доц. В. М. Фриче. 3-е изд...	1.—
2	**Минерва.** Богини или три романа герцогини Асси. Ч. II. 2 изд.	1.—
3	**Венера.** Богини или три романа герцогини Асси. Ч. III. 2 изд.	1.—
4	1) **Мелкій бѣсъ.** Романъ. 2) **Мнаисъ и Джиневра.** Новеллы.	1.50
5	**Въ погонѣ за любовью.** Романъ.	1.50
6	1) **Чудесное** 2) **Актриса**......	1.—
7	**Романъ изъ жизни свѣтск. людей.**	—

Изъ отзывовъ печати.

„Когда съ чувствомъ стыда мы отрываемся отъ восхищенія старыми образцами искусства и посмотримъ на его (Манна) книги. въ насъ рождается надежда, что и мы будемъ вѣчно жить въ гордыхъ созданіяхъ искусства".

Гансъ Бранденбургъ.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

Собраніе сочиненій.

Тома		Цѣна.
1	**Прокрустово ложе.** (Записки литерат. Макара). Кн. 1-я. .	1.—
2	**Прокруст. ложе.** Кн. 2-я.	1.—
3	**Прокрустово ложе.** Книга 3-я (готовится къ печати)......	—

Изъ отзывовъ печати.

„Въ этой книгѣ разсказана исторія жизни и мысли,—исторія исканій, житейскихъ и литературныхъ, больного литератора изъ рабочихъ, представляющая громадный общественный интересъ".

„Рус. Вѣд". Нояб. 1910 г. № 263

ШОЛОМЪ АЛЕЙХЕМЪ.

Собраніе сочиненій. 10 томовъ.

Переводъ съ еврейск., разрѣш. авторомъ.

Тома		Цѣна.
1	**Дѣти „черты".** Кн. первая 2 изд.	1.—
2	**Дѣти „черты".** Кн. вторая 2 изд.	1.—
3	**Маленькіе люди**...............	1.—
4	**Записки коммивояжера**........	1.—
5	**Не унывающіе**...............	1.—

Изъ отзывовъ печати.

„Въ книгѣ Шоломъ-Алейхема найдется много весьма поучительнаго, краснорѣчи-

БЕРНАРЪ ШОУ.

Полное собраніе сочиненій. 10 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	1) **Справочникъ Разрушителя.** 2) **Цезарь и Клеопатра**.......	1.—
2	**Человѣкъ и сверхчеловѣкъ**.....	1.25
3	1) **Врачъ на распутьѣ.** 2) **Сила женщины**.............	1.—
4	**Неразумный бракъ.** Романъ	1.50
5	**Очерки**......................	1.50
6	**Солдатъ изъ арміи спасенія** ...	1.—
7	**Карьера одного борца.** Романъ .	—

Отзывъ Л. Н. Толстого.

„Весьма талантливый, интересный, бойкій писатель, быть-можетъ, слишкомъ выставляющій въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ свой атеизмъ, но очень хорошо вскрывающій лицемѣріе современнаго общества".

МАРІЯ КОНОПНИЦКАЯ

Собраніе сочиненій.

Авторизованный переводъ.

Тома		Цѣна.
1	**На Нормандскомъ берегу**......	1.—
2	**Мендель Гданскій и др.**.......	1.—
3	**Милосердіе общины и др.** (печ.)	

„Это былъ великій талантъ, многіе называютъ его геніальнымъ, и онъ безъ сомнѣнія достигалъ геніальности больше чѣмъ—у кого либо.

Она была могучей и въ настоящемъ смыслѣ этого слова.

Казиміръ Тетмайеръ.

ГЕРМАНЪ БАНГЪ.

Полное собраніе сочиненій 10 томовъ.

Тома		Цѣна.
1	**Михаэль.** Романъ	1.—
2	**Его превосходительство.** Ром. ..	1.—
3	**Тинэ.** Романъ	1.—
4	**Графиня Урнэ.** Романъ........	1.—
5	**Погибшія мечты.** Романъ	1.25
	Сестра. Романъ..............	—

...„Если итти интереснымъ путемъ литературныхъ аналогій, Бангъ неминуемо приведетъ насъ къ милому имени Чехова, который съ тѣмъ же интимнымъ очарованіемъ, съ тою же большой и скорбной любовью къ людямъ, какъ и Германъ Бангъ, разсказывалъ намъ свои простыя и великія легенды объ отходящемъ уже въ тѣнь поколѣніи, „о любви, о счастіи и

АДРЕСЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА:
Москва, Садовники, 16. Телефонъ 177-14.

БЛАСКО ИБАНЬЕСЪ.

Полное собраніе сочиненій.

Т. I. ПРОКЛЯТЫЙ ХУТОРЪ. Романъ Ц. 1 руб.

„Проклятый хуторъ“ рисуетъ Ибаньеса главнымъ образомъ, какъ жанриста. Жанръ у него выходитъ великолѣпно: выпукло, колоритно, сочно. Тутъ все одинаково удачно: и нелѣпая народная школа, и смерть старой заѣзженной лошади, судъ крестьянъ и походная цирульня на базарѣ, лошадиный торгъ, пьяное пари въ кабакѣ и похороны мальчика при участіи всей „уэрты“. Прекрасны картины крестьянскаго полевого труда и воспроизведенія природы: вечера и ночи въ тучной „уэртѣ“ (Викторъ Гофманъ).

Ибаньесъ является въ романѣ „Проклятый хуторъ“ тонкимъ цѣнителемъ и знатокомъ природы. (Проф. Шепелевичъ).

Т. II. МЕРТВЫЕ ПОВЕЛѢВАЮТЪ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.
Т. III. ДИКАЯ ОРДА. Романъ. Ц. 1 руб. 50 к.
Т. IV. ВИННЫЙ СКЛАДЪ (Бодега). Романъ Ц. 1 руб.
Т. V. КУРТИЗАНКА СОННИКА. Романъ Ц. 1 р.
Т. VI. ВЪ АПЕЛЬСИННЫХЪ САДАХЪ. Романъ Ц. 1 р.
Т. VII. ТОЛЕДСКІЙ СОБОРЪ. Романъ. Ц. 1 р.
Т. VIII. МАЙСКІЙ ЦВѢТОКЪ. Романъ. Ц. 1 р.

Бласко Ибаньесъ, несомнѣнно, большой и сильный писатель. Это романистъ и творецъ типа Бальзака и Золя, съ широчайшимъ захватомъ жизни и современности, съ поразительнымъ знаніемъ самыхъ разнообразныхъ сферъ и закаулковъ общества, съ непостижимымъ для обыкновеннаго человѣка жизненымъ опытомъ, дающимъ ему возможность создавать сотни разнородныхъ людей, причемъ всѣ выходятъ равно автономными, живыми и правдивыми. (Викторъ Гофманъ).

Бласко Ибаньесъ—самый оригинальный беллетристъ современной Испаніи, талантъ котораго оригиналенъ и мощенъ. (Діонео).

ВЛАДИСЛАВЪ РЕЙМОНТЪ.

Полное собраніе сочиненій.

Авторизованный переводъ.

Т. I. МУЖИКИ ч. I и II. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.
Т. II. МУЖИКИ ч. III. Романъ. Ц. 1 руб.
Т. III. МУЖИКИ ч. IV. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.
Т. IV. МЕЧТАТЕЛЬ. Романъ Ц. 1 р.

„Мужики“ Реймонта, это — одно изъ самыхъ художественныхъ воплощеній „власти земли“, и русскій читатель найдетъ у польскаго писателя цѣлый рядъ картинъ къ философскимъ обобщеніямъ Глѣба Успенскаго (Л. Козловскій).

„Мужики“ Реймонта дѣйствительно поражаютъ, приводятъ въ изумленіе рѣдкимъ сочитаніемъ глубокаго знанія и души мужика, и мелочей его быта съ очень тонкой, своеобразной художественной формой произведенія“. „Русскія Вѣдомости“ 1910.

„Мужики“ Реймонта—это грандіозный художественный трудъ писателя бытописца, который отражаетъ жизнь цѣлаго народа въ самыхъ типическихъ ея чертахъ, не выходя изъ предѣловъ настоящаго искусства, не впадая въ тенденціозный, публицистическій тонъ. Въ этомъ огромная цѣнность романа, ставящая его в рядѣ большихъ и оргинальныхъ произведеній европейской литературы Масштабъ романа р скидывается широко. Онъ захватываетъ множество дѣйствующихъ лицъ во всей сложности ихъ отношеній, въ немъ вся жизнь польскаго мужика,—своеобразная, сильная, первобытная и утонченная старинной народной культурой. Она связана съ природой могучими корнями, она вся овѣяна ароматами полей и лѣсовъ; мгновеньями она нѣжна, какъ пастушеская идиллія, и она же опасна, темна и стихійна, какъ сама природа. Нина Петровская.

ОДИНЪ РУБЛЬ.